

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА



В. М. Гаршин

**РАССКАЗЫ**



Рассказы. Вступ. ст. Ю. Козловского // Дет. лит., Москва, 2001  
ISBN: 5-08-003980-9  
FB2: Padma, 22.07.2014, version 1.0  
UUID: 217aac41-1731-11e4-a844-0025905a069a  
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

**Всеволод Михайлович Гаршин**

## **Рассказы**

(Школьная библиотека (Детская литература)  
#1)

В книгу вошли рассказы известного русского писателя-гуманиста, такие, как «Четыре дня», «Красный цветок», «Трус», и другие. Все эти произведения проникнуты любовью к людям, в них автор решает проблемы смысла и ценности человеческой жизни.

# Содержание

Жизнь Всеволода Гаршина (в сокращении) (1855–1888) . . . . .	0006
Четыре дня . . . . .	0019
Трус . . . . .	0044
Встреча . . . . .	0088
Художники . . . . .	0127
Attalea princeps . . . . .	0163
Денщик и офицер . . . . .	0180
То, чего не было . . . . .	0209
Из воспоминаний рядового Иванова . . . . .	0218
Красный цветок (памяти Ивана Сергеевича Тургенева) . . . . .	0312
Медведи . . . . .	0345
Сказка о жабе и розе . . . . .	0379
Сигнал . . . . .	0394



*B. Tapscott*

**Всеволод Михайлович  
Гаршин  
Рассказы**

# Жизнь Всеволода Гаршина (в сокращении) (1855–1888)

Земной путь Всеволода Михайловича Гаршина был короток; невелико по объему и его творческое наследие. Первый гаршинский рассказ – «Четыре дня», сразу принесший автору известность, был написан и опубликован, когда Всеволоду Гаршину исполнилось двадцать два года, – по тем временам не так уж мало для начинающего литератора.

Все, кто хоть как-то соприкасался в жизни со Всеволодом Михайловичем Гаршиным, неизменно отмечали его необычайные духовные качества.

Его разносторонняя, впечатлительная, богато одаренная натура была крайне чутка ко всему доброму и хорошему в мире; все источники радости и наслаждения в человеческой жизни были ему доступны и понятны. Страстный ценитель искусств, он всей душой любил поэзию, живопись и музыку, никогда не уставал ими наслаждаться. Знаток и любитель

природы, он чрезвычайно чутко относился ко всем ее красотам, ко всем ее проявлениям <...>. Он любил людей, был общительного характера, и человеческое общество ему, доброму, скромному и в высшей степени терпимому человеку, всегда было приятно, всегда доставляло удовольствие[1].

Всеволод Михайлович Гаршин родился 2 февраля 1855 года, в последние недели царствования Николая I, в семье кавалерийского офицера Михаила Егоровича Гаршина и его жены, урожденной Акимовой, в имении Приятная Долина Бахмутского уезда Екатеринославской губернии. Всеволод был третьим сыном. В 1858 году отец Всеволода Гаршина получил наследство, вышел в отставку, и жить стали в Старобельске. Наследственность у Всеволода была тяжелая – как со стороны отца, по воспоминаниям, человека хорошего, доброго, но «со странностями», – так, возможно, и матери, обладавшей достаточно тяжелым характером.

В 1863 году родители отпускают восьмилетнего Всеволода в Петербург: нужно было

дать ему образование, и в 1864 году мальчик поступает в гимназию (вскоре преобразованную в реальную гимназию, а затем в реальное училище).

Семилетний гимназический курс растянулся для Гаршина на десять лет (что, впрочем, не очень ему повредило, так как поступил он в гимназию раньше срока). Сказались болезни и «леность», в которой Всеволод Михайлович сам признавался в своей биографии.

Дорога в университет для будущего писателя как для выпускника реального училища была закрыта. Всеволод поступил в Горный институт.

Осень 1874 года – первые месяцы учебы Всеволода в институте – ознаменовалась многочисленными студенческими волнениями. На Всеволода, хотя он и не был в числе «бунтующих», эти события произвели удручающее впечатление.

Но постепенно жизнь вошла в свою колею. Гаршин учится, прирабатывает. Круг интересов студента расширялся. У Гаршина появилось много знакомых, в том числе среди мо-



лодых художников, близких передвижникам. Споры об искусстве, понимание Гаршиным задач живописи отразились в его рассказе «Художники». Так же как и художник В. В. Верещагин, творчество которого было почти полностью посвящено войне и который погиб на войне, Всеволод Гаршин воспринял ее как страшное зло: оба эти художника – художник кисти и художник слова – были гуманистами и обличали войну как явление. Тема войны станет едва ли не главной в творчестве Всеволода Гаршина. Три года спустя Гаршину и Верещагину было суждено оказаться на полях сражений одной войны и пролить на них свою кровь. 12 апреля 1877 года был обнародован манифест, и началась шестая по счету русско-турецкая война.

С учебой в Горном институте пришлось покончить, и, как оказалось, навсегда. 4 мая Гаршин вместе со своим другом Василием Афанасьевым уже находился в Кишиневе; в качестве вольноопределяющихся 138-го Болховского полка друзья выступают в долгий, порой невыносимо трудный поход.

Всю дорогу от Кишинева до театра воен-

ных действий Гаршин и Афанасьев проделали пешком, наравне с простыми солдатами. И это было совсем немало – обстановка нелегкого пути подробно воспроизведена Гаршиным в рассказе «Из воспоминаний рядового Иванова», написанном пять лет спустя. Великая и благородная цель – освобождение братских народов от чужеземного владычества – придавала Гаршину силы; кроме того, это была первая встреча будущего писателя с настоящей, большой и серьезной, а в чем-то и праздничной, жизнью – отошли в прошлое будничные заботы, душевная смута, казалось таким далеким серое петербургское небо, а рядом шагали, жили люди из совсем другого, почти неизвестного ему мира. Может быть, именно тогда в полной мере осознал Гаршин свое призвание – накапливающиеся впечатления требовали выхода, возникала непреодолимая потребность сказать что-то свое о мире и человеке – такое, что знал и мог сказать людям только он.

Гаршин оказался прав. Именно полученные в походе впечатления дали толчок его творчеству – талант писателя основывался на

жизненных наблюдениях и личном опыте; забегая вперед, скажем, что воображение, с помощью которого Гаршин пытался восполнить недостаток знания о предмете, нередко изменяло ему и снижало художественный уровень создаваемого произведения. Поэтому в историю русской литературы писатель вошел прежде всего как автор цикла рассказов о войне и «Красного цветка» – рассказа, также основанного на непосредственном жизненном опыте...

Всеволоду Гаршину не суждено было дослужить до конца войны, пережить зимнюю кампанию 1877/78 года, замерзнуть на заснеженных перевалах, побывать на Шипке и под Плевной: 11 августа 1877 года, в первом же бою с турками при деревушке Аяслар, Гаршин был ранен в ногу и отправлен в госпиталь, а затем на лечение в Россию.

Последнее десятилетие недолгой жизни Всеволода Гаршина – время его активного писательства. Над первым своим художественным произведением, сразу же принесшим известность и даже прославившим своего автора – рассказом «Четыре дня», – он начал рабо-

тать еще в госпитале в Беле и закончил его в Харькове, в начале сентября. Как очень часто бывало у Гаршина, в основу рассказа легло действительное событие. Гаршин не просто воссоздал состояние человека, попавшего на войне в трагическую ситуацию, но использовал эту ситуацию, чтобы выразить свои мысли посредством героя произведения – солдата, вместе со всеми и потому бездумно делавшего свое дело и неожиданно оказавшегося в одиночестве перед лицом смерти, получившего для осмысления происходящего те самые четыре дня. Двадцатидвухлетнему писателю удалось художественно отразить драматическую коллизию реальной человеческой жизни: никто не хочет воевать, убивать, и все-таки люди идут на войну и погибают, потому что иначе отчего-то нельзя...

Срок годичного, предоставленного по ранению отпуска истекал, и перед Гаршиным встал вопрос, чему посвятить себя – военной службе (Всеволод Гаршин был представлен к производству в офицеры) или писательству. Чувствует он себя неважно, и, очевидно, тяжелое душевное состояние не дает ему решени-

тельно определиться в жизни. Осенью Гаршин подает прошение об отставке и ложится в госпиталь для проведения освидетельствования. Там он заканчивает прекрасный рассказ «Трус».

Итак, рассказ «Трус», опубликованный в марте 1879 года, вновь посвящен теме войны, и вновь писатель поднимает в нем вопросы жизни и смерти. На этот раз он словно ставит эксперимент, стремясь определить цену человеческой жизни, девальвированную массовой гибелью людей. В рассказе повествование раздваивается: где-то идет война, гибнут сотни, тысячи, десятки тысяч людей, и в это время в Петербурге идет борьба за жизнь тяжелобольного человека. Гаршин пытается разобраться в скрытом парадоксе – врачи, друзья Кузьмы тратят столько энергии и душевных сил, чтобы отстоять его у смерти, ему делают операцию за операцией – и в то же время люди идут на войну, на насильственную смерть, и это кажется всем естественным и даже само собой разумеющимся... «...Когда я направил струю воды на обнаженные кровавые места <...>, я думал о других ранах, гораздо более

ужасных и качеством, и подавляющим количеством и, сверх того, нанесенных не слепым, бессмысленным случаем, а сознательными действиями людей».

Гаршин по-толстовски необычно и остро ставит проблему, не воспринимавшуюся людьми из-за ее привычности, стремится довести до сознания читателя мысль о том, что тысячи смертей – это не статистика, а тысячи трагедий.

Зимой 1878/79 года Гаршину удалось многое сделать. Помимо «Труса», написана «Встреча», задуман рассказ «Художники». Но, пожалуй, наиболее удачным произведением, созданным писателем в этот период, стала сказка «Attalea princeps». В основе ее сюжета вновь лежит действительное событие.

Весной 1879 года Гаршин испытал чувство необычайного подъема. «Он <...> никогда не был так полон кипучим весельем, такой жизненностью, такой суетливой энергией, как весной 1879 года. <...> Талант его был всеми признан; в голове его кипели планы и литературные замыслы». К лету – осени 1879 года относится замысел писателя создать хронику

«Люди и война», где он хотел наиболее полно разработать проблемы, в значительной степени затронутые в предыдущих рассказах. С этим циклом связаны рассказы «Денщик и офицер» (1880), «Из воспоминаний рядового Иванова» (1883). Но задуманному не было суждено осуществиться: к осени душевный подъем сменила депрессия.

Кризис наступил в феврале следующего года; внешним толчком для него послужили следующие события. 5 февраля в Зимнем дворце произошел взрыв, организованный С. Н. Халтуриным. Царь остался невредим, погибли и были искалечены неповинные люди. Это событие потрясло Гаршина. Болезнь стремительно развивалась: депрессия сменилась возбуждением. Гаршин совершал странные поступки, производя на окружающих впечатление полубезумного. Вскоре Всеволод Михайлович был доставлен в Харьков в больницу.

...В начале сентября 1880 года В. М. Гаршин был перевезен в Петербург, в лечебницу доктора А. Я. Фрея. Там его состояние несколько улучшилось, но перешло в иную фазу – тяже-

лой депрессии. В конце 1880 года Всеволода увозит к себе в деревню Ефимовка Херсонской губернии его дядя В. С. Акимов, в надежде, что покой, тишина и физический труд окажут на больного свое благотворное действие. И действительно, очень медленно, в течение долгих месяцев, Всеволод приходил в себя после тяжелой болезни. К весне он был уже неузнаваем. В феврале 1882 года Гаршин получил письмо от Тургенева – ободряющее, с приглашением погостить у него в конце весны в Спасском-Лутовинове.

В том году выходит первый сборник рассказов Всеволода Гаршина; один экземпляр он посылает И. С. Тургеневу. «Любезнейший Гаршин, я получил <...> Вашу книгу, которую прочел немедленно, – пишет ему Тургенев. – Могу повторить <...>: изо всех наших молодых писателей Вы тот, который возбуждает большие надежды. У Вас есть все признаки настоящего, крупного таланта: художественный темперамент, тонкое и верное понимание характерных черт жизни – человеческой и общей, чувство правды и меры, простота и красивость формы – и, как результат всего,



оригинальность»[2]. Гаршин высоко ценил поддержку и одобрение Тургенева, пришедшего к нему на помощь в тяжелую минуту жизни; свое лучшее произведение, «Красный цветок», Всеволод Гаршин посвятил памяти умершего в конце лета следующего года великого русского писателя.

Осенью того же года в «Отечественных записках» был опубликован «Красный цветок». Это рассказ о человеческой жертвенности, о великом подвиге, не меньшем, чем подвиг горьковского Данко, вырвавшего у себя из груди сердце и освещавшего им путь людям. Да, речь идет о поступках безумного человека, но ведь безумие его заключается только в неадекватном восприятии мира – в трех красных цветках мака он увидел средоточие всего зла мира; жертвенность же его, гуманизм – это качества, отличающие лучших представителей человечества, и при нравственной оценке его поступка для нас не имеет никакого значения, в здравом уме или в состоянии помешательства он был совершен. Более того, подвиг этого безумца не имеет себе равных, ибо герой один на один вступил в борьбу с

мировым злом и пал победителем.

Публика восторженно приняла «Красный цветок»; вышел второй сборник рассказов писателя. Середина 1880-х годов – время его наибольшего успеха.

В марте 1888 года, после некоторого улучшения, Гаршин вновь почувствовал себя хуже. В это время у Всеволода Михайловича произошел разрыв с младшим братом и матерью, – к сожалению, она нашла более чем неподходящий момент для обострения семейных отношений. Ночью 19 марта 1888 года Гаршин покончил жизнь самоубийством.

*Ю. А. Козловский*

# Четыре дня

Я помню, как мы бежали по лесу, как жужжали пули, как падали отрываемые ими ветки, как мы продирались сквозь кусты боярышника. Выстрелы стали чаще. Сквозь опушку показалось что-то красное, мелькавшее там и сям. Сидоров, молоденький солдатик первой роты («Как он попал в нашу цепь?» – мелькнуло у меня в голове), вдруг присел к земле и молча оглянулся на меня большими испуганными глазами. Из рта у него текла струя крови. Да, я это хорошо помню. Я помню также, как уже почти на опушке, в густых кустах, я увидел... его. Он был огромный толстый турок, но я бежал прямо на него, хотя я слаб и худ. Что-то хлопнуло, что-то, как мне показалось, огромное пролетело мимо; в ушах зазвенело. «Это он в меня выстрелил», – подумал я. А он с воплем ужаса прижался спиной к густому кусту боярышника. Можно было обойти куст, но от страха он не помнил ничего и лез на колючие ветви. Одним ударом я вышиб у него ружье, другим воткнул куда-то свой штык. Что-то не то за-

рычало, не то застонало. Потом я побежал дальше. Наши кричали «ура!», падали, стреляли. Помню, и я сделал несколько выстрелов, уже выйдя из лесу, на поляне. Вдруг «ура» раздалось громче, и мы сразу двинулись вперед. То есть не мы, а наши, потому что я остался. Мне это показалось странным. Еще страннее было то, что вдруг все исчезло; все крики и выстрелы смолкли. Я не слышал ничего, а видел только что-то синее; должно быть, это было небо. Потом и оно исчезло.

Я никогда не находился в таком странном положении. Я лежу, кажется, на животе и вижу перед собою только маленький кусочек земли. Несколько травинок, муравей, ползущий с одной из них вниз головою, какие-то кусочки сора от прошлогодней травы – вот весь мой мир. И вижу я его только одним глазом, потому что другой зажат чем-то твердым, должно быть веткою, на которую опирается моя голова. Мне ужасно неловко, и я хочу, но решительно не понимаю, почему не могу шевельнуться. Так проходит время. Я слышу треск кузнечиков, жужжание пчелы. Больше нет ничего. Наконец я делаю усилие,

освобождая правую руку из-под себя и, упираясь обеими руками о землю, хочу встать на колени.

Что-то острое и быстрое, как молния, пронизывает все мое тело от колен к груди и голове, и я снова падаю. Опять мрак, опять ничего нет.

Я проснулся. Почему я вижу звезды, которые так ярко светятся на черно-синем болгарском небе? Разве я не в палатке? Зачем я вылез из нее? Я делаю движение и ощущаю мучительную боль в ногах.

Да, я ранен в бою. Опасно или нет? Я хватаюсь за ноги там, где болит. И правая и левая ноги покрылись заскорузлой кровью. Когда я трогаю их руками, боль еще сильнее. Боль как зубная: постоянная, тянущая за душу. В ушах звон, голова отяжелела. Смутно понимаю я, что ранен в обе ноги. Что ж это такое? Отчего меня не подняли? Неужели турки разбили нас? Я начинаю припоминать бывшее со мной, сначала смутно, потом яснее, и прихожу к заключению, что мы вовсе не разбиты. Потому что я упал (этого, впрочем, я не

помню, но помню, как все побежали вперед, а я не мог бежать, и у меня осталось только что-то синее перед глазами) – и упал на полянке, наверху холма. На эту полянку нам показывал наш маленький батальонный. «Ребята, мы будем там!» – закричал он нам своим звонким голосом. И мы были там: значит, мы не разбиты... Почему же меня не подобрали? Ведь здесь, на поляне, открытое место, все видно. Ведь, наверное, не я один лежу здесь. Они стреляли так часто. Нужно повернуть голову и посмотреть. Теперь это сделать удобнее, потому что еще тогда, когда я, очнувшись, видел травку и муравья, ползущего вниз головою, я, пытаясь подняться, упал не в прежнее положение, а повернулся на спину. Оттого-то мне и видны эти звезды.

Я приподнимаюсь и сажусь. Это делается трудно, когда обе ноги перебиты. Несколько раз приходится отчаиваться; наконец со слезами на глазах, выступившими от боли, я сажусь.

Надо мною – клочок черно-синего неба, на котором горит большая звезда и несколько маленьких, вокруг что-то темное, высокое.

Это – кусты. Я в кустах: меня не нашли!

Я чувствую, как шевелятся корни волос на моей голове.

Однако как это я очутился в кустах, когда они выстрелили в меня на полянке? Должно быть, раненный, я переполз сюда, не помня себя от боли. Странно только, что теперь я не могу пошевелиться, а тогда сумел дотащиться до этих кустов. А быть может, у меня тогда была только одна рана и другая пуля доконала меня уже здесь.

Бледные розоватые пятна заходили вокруг меня. Большая звезда побледнела, несколько маленьких исчезли. Это всходит луна. Как хорошо теперь дома!..

Какие-то странные звуки доходят до меня...

Как будто бы кто-то стонет. Да, это – стон. Лежит ли около меня какой-нибудь такой же забытый, с перебитыми ногами или с пулей в животе? Нет, стоны так близко, а около меня, кажется, никого нет... Боже мой, да ведь это – я сам! Тихие, жалобные стоны; неужели мне в самом деле так больно? Должно быть. Только я не понимаю этой боли, потому что у меня в

голове туман, свинец. Лучше лечь и уснуть, спать, спать... Только проснусь ли я когда-нибудь? Это все равно.

В ту минуту, когда я собираюсь ложиться, широкая бледная полоса лунного света ясно озаряет место, где я лежу, и я вижу что-то темное и большое, лежащее шагах в пяти от меня. Кое-где на нем видны блики от лунного света. Это пуговицы или амуниция. Это – труп или раненый.

Все равно, я лягу...

Нет, не может быть! Наши не ушли. Они здесь, они выбили турок и остались на этой позиции. Отчего же нет ни говора, ни треска костров? Да ведь я от слабости ничего не слышу. Они, наверное, здесь.

– Помогите!.. Помогите!

Дикие, безумные хриплые вопли вырываются из моей груди, и нет на них ответа. Громко разносятся они в ночном воздухе. Все остальное молчит. Только сверчки трещат по-прежнему неутомонно. Луна жалобно смотрит на меня круглым лицом.

Если бы *он* был раненый, он очнулся бы от такого крика. Это труп. Наш или турок? Ах,



Боже мой! Будто не все равно. И сон опускается на мои воспаленные глаза.

Я лежу с закрытыми глазами, хотя уже давно проснулся. Мне не хочется открыть глаза, потому что я чувствую сквозь закрытые веки солнечный свет: если я открою глаза, то он будет резать их. Да и лучше не шевелиться... Вчера (кажется, это было вчера?) меня ранили; прошли сутки, пройдут другие, я умру. Все равно. Лучше не шевелиться. Пусть тело будет неподвижно. Как было бы хорошо остановить и работу мозга! Но ее ничем не удержишь. Мысли, воспоминания теснятся в голове. Впрочем, все это ненадолго, скоро конец. Только в газетах останется несколько строк, что, мол, потери наши незначительны: ранено столько-то; убит рядовой из вольноопределяющихся Иванов. Нет, и фамилии не напишут; просто скажут: убит один. Один рядовой, как та одна собачонка...

Целая картина ярко вспыхивает в моем воображении. Это было давно; впрочем, всё, вся моя жизнь, *та* жизнь, когда я не лежал еще здесь с перебитыми ногами, была так давно...

Я шел по улице, кучка народа остановила меня. Толпа стояла и молча глядела на что-то беленькое, окровавленное, жалобно визжавшее. Это была маленькая хорошенькая собачка; вагон конно-железной дороги переехал ее. Она умирала, вот как теперь я. Какой-то дворник растолкал толпу, взял собачку за шиворот и унес. Толпа разошлась.

Унесет ли меня кто-нибудь? Нет, лежи и умирай. А как хороша жизнь!.. В тот день (когда случилось несчастье с собачкой) я был счастлив. Я шел в каком-то опьянении, да и было отчего. Вы, воспоминания, не мучьте меня, оставьте меня! Былое счастье, настоящие муки... пусть бы остались одни мученья, пусть не мучат меня воспоминания, которые невольно заставляют сравнивать. Ах, тоска, тоска! Ты хуже ран.

Однако становится жарко. Солнце жжет. Я открываю глаза, вижу те же кусты, то же небо, только при дневном освещении. А вот и мой сосед. Да, это – турок, труп. Какой огромный! Я узнаю его, это тот самый...

*А вот и мой сосед. Да, это – турок, труп. Какой огромный! Я узнаю его, это*

*тот самый...*



Передо мною лежит убитый мною человек. За что я его убил?

Он лежит здесь мертвый, окровавленный. Зачем судьба пригнала его сюда? Кто он? Быть может, и у него, как у меня, есть старая мать. Долго она будет по вечерам сидеть у дверей своей убогой мазанки да поглядывать на далекий север: не идет ли ее ненаглядный сын, ее работник и кормилец?...

А я? И я также... Я бы даже поменялся с ним. Как он счастлив: он не слышит ничего, не чувствует ни боли от ран, ни смертельной тоски, ни жажды... Штык вошел ему прямо в сердце... Вот на мундире большая черная дыра; вокруг нее кровь. *Это сделал я.*

Я не хотел этого. Я не хотел зла никому, когда шел драться. Мысль о том, что и мне придется убивать людей, как-то уходила от меня. Я представлял себе только, как я буду подставлять свою грудь под пули. И я пошел и подставил.

Ну и что же? Глупец, глупец! А этот несчастный феллах (на нем египетский мундир) – он виноват еще меньше. Прежде чем

их посадили, как сельдей в бочку, на пароход и повезли в Константинополь, он и не слышал ни о России, ни о Болгарии. Ему велели идти, он и пошел. Если бы он не пошел, его стали бы бить палками, а то, быть может, какой-нибудь паша всадил бы в него пулю из револьвера. Он шел длинным, трудным походом от Стамбула до Руцука. Мы напали, он защищался. Но видя, что мы, страшные люди, не боящиеся его патентованной английской винтовки Пибоди и Мартини, всё лезем и лезем вперед, он пришел в ужас. Когда он хотел уйти, какой-то маленький человечек, которого он мог бы убить одним ударом своего черного кулака, подскочил и воткнул ему штык в сердце.

Чем же он виноват?

И чем виноват я, хотя я и убил его? Чем я виноват? За что меня мучает жажда? Жажда! Кто знает, что значит это слово! Даже тогда, когда мы шли по Румынии, делая в ужасные сорокаградусные жары переходы по пятидесяти верст, тогда я не чувствовал того, что чувствую теперь. Ах, если бы кто-нибудь пришел!

Боже мой! Да у него в этой огромной фляге, наверно, есть вода! Но надо добраться до него. Что это будет стоить! Все равно, доберусь.

Я ползу. Ноги волочатся, ослабевшие руки едва двигают неподвижное тело. До трупа сажени две, но для меня это больше – не больше, а хуже – десятков верст. Все-таки нужно ползти. Горло горит, жжет, как огнем. Да и умрешь без воды скорее. Все-таки, может быть...

И я ползу. Ноги цепляются за землю, и каждое движение вызывает нестерпимую боль. Я кричу, кричу с воплями, а все-таки ползу. Наконец вот и он. Вот фляга... в ней есть вода – и как много! Кажется, больше полфляги. О! Воды мне хватит надолго... до самой смерти!

Ты спасаешь меня, моя жертва!.. Я начал отвязывать флягу, опершись на один локоть, и вдруг, потеряв равновесие, упал лицом на грудь своего спасителя. От него уже был слышен сильный трупный запах.

Я напился. Вода была тепла, но не испорти-

на, и притом ее было много. Я проживу еще несколько дней. Помнится, в «Физиологии обыденной жизни» сказано, что без пищи человек может прожить больше недели, лишь бы была вода. Да, там еще рассказана история самоубийцы, уморившего себя голодом. Он жил очень долго, потому что пил.

Ну и что же? Если я и проживу еще дней пять-шесть, что будет из этого? Наши ушли, болгары разбежались. Дороги близко нет. Все равно – умирать. Только вместо трехдневной агонии я сделал себе недельную. Не лучше ли кончить? Около моего соседа лежит его ружье, отличное английское произведение. Стоит только протянуть руку; потом – один миг, и конец. Патроны валяются тут же, кучею. Он не успел выпустить всех.

Так кончать или ждать? Чего? Избавления? Смерти? Ждать, пока придут турки и начнут сдирать кожу с моих раненых ног? Лучше уж самому...

Нет, не нужно падать духом; буду бороться до конца, до последних сил. Ведь если меня найдут, я спасен. Быть может, кости не тронуты; меня вылечат. Я увижу родину, мать, Ма-

шу...

Господи, не дай им узнать всю правду! Пусть думают, что я убит наповал. Что будет с ними, когда они узнают, что я мучился два, три, четыре дня!

Голова кружится; мое путешествие к соседу меня совершенно измучило. А тут еще этот ужасный запах. Как он почернел... что будет с ним завтра или послезавтра? И теперь я лежу здесь только потому, что нет силы оттащить-ся. Отдохну и поползу на старое место; кста-ти, ветер дует оттуда и будет относить от меня зловоние.

Я лежу в совершенном изнеможении. Солнце жжет мне лицо и руки. Накрыться нечем. Хоть бы ночь поскорее; это, кажется, будет вторая.

Мысли путаются, и я забываюсь.

Я спал долго, потому что, когда проснулся, была уже ночь. Все по-прежнему: раны болят, сосед лежит, такой же огромный и неподвиж-ный.

Я не могу не думать о нем. Неужели я бро-сил все милое, дорогое, шел сюда тысяче-



верстным походом, голодал, холодал, мучился от зноя; неужели, наконец, я лежу теперь в этих муках – только ради того, чтобы этот несчастный перестал жить? А ведь разве я сделал что-нибудь полезное для военных целей, кроме этого убийства?

Убийство, убийца... И кто же? Я!

Когда я затеял идти драться, мать и Маша не отговаривали меня, хотя и плакали надо мною. Слепленный идеею, я не видел этих слез. Я не понимал (теперь я понял), что я делал с близкими мне существами.

Да вспоминать ли? Прошлого не воротишь.

А какое странное отношение к моему поступку явилось у многих знакомых! «Ну, юродивый! Лезет, сам не зная чего!» Как могли они говорить это? Как вяжутся такие слова с их представлениями о геройстве, любви к родине и прочих таких вещах? Ведь в их глазах я представлял все эти доблести. И тем не менее – я «юродивый».

И вот я еду в Кишинев; на меня навьючивают ранец и всякие военные принадлежности. И я иду вместе с тысячами, из которых

разве несколько наберется, подобно мне, идущих охотно. Остальные остались бы дома, если бы им позволили. Однако они идут так же, как и мы, «сознательные», проходят тысячи верст и дерутся так же, как и мы, или даже лучше. Они исполняют свои обязанности, несмотря на то, что сейчас же бросили бы и ушли – только бы позволили.

Понесло резким утренним ветерком. Кусты зашевелились, вспорхнула полусонная птичка. Звезды померкли. Темно-синее небо посерело, подернулось нежными перистыми облачками; серый полумрак поднимался с земли. Наступал третий день моего... Как это назвать? Жизнь? Агония?

Третий... Сколько их еще осталось? Во всяком случае, немного... Я очень ослабел и, кажется, даже не смогу отодвинуться от трупа. Скоро мы поравняемся с ним и не будем неприятны друг другу.

Нужно напиться. Буду пить три раза в день: утром, в полдень и вечером.

Солнце взошло. Его огромный диск, весь пересеченный и разделенный черными ветвями кустов, красен, как кровь. Сегодня будет,

кажется, жарко. Мой сосед – что станется с тобой? Ты и теперь ужасен.

Да, он был ужасен. Его волосы начали выпадать. Его кожа, черная от природы, побледнела и пожелтела; раздутое лицо натянуло ее до того, что она лопнула за ухом. Там копошились черви. Ноги, затянутые в штиблеты, раздулись, и между крючками штиблет вылезли огромные пузыри. И весь он раздулся горою. Что сделает с ним солнце сегодня?

Лежать так близко к нему невыносимо. Я должен отползти во что бы то ни стало. Но смогу ли я? Я еще могу поднять руку, открыть фляжку, напиться; но – передвинуть свое тяжелое, неподвижное тело? Все-таки буду двигаться, хоть понемногу, хоть на полшага в час.

Все утро проходит у меня в этом передвижении. Боль сильная, но что мне она теперь? Я уже не помню, не могу представить себе ощущений здорового человека. Я даже будто привык к боли. В это утро я отполз-таки сажени на две и очутился на прежнем месте. Но я недолго пользовался свежим воздухом, если может быть свежий воздух в шести шагах от

гниющего трупа. Ветер переменяется и снова наносит на меня зловоние, до того сильное, что меня тошнит. Пустой желудок мучительно и судорожно сокращается; все внутренности переворачиваются. А зловонный, зараженный воздух так и плывет на меня.

Я прихожу в отчаяние и плачу...

Совсем разбитый, одурманенный, я лежал почти в беспамятстве. Вдруг... Не обман ли это расстроенного воображения? Мне кажется, что нет. Да, это – говор. Конский топот, людской говор. Я едва не закричал, но удержался. А что, если это турки? Что тогда? К этим мучениям прибавятся еще другие, более ужасные, от которых дыбом волос становится, даже когда о них читаешь в газетах. Сдерут кожу, поджарят раненые ноги... Хорошо, если еще только это; но ведь они изобретательны. Неужели лучше кончить жизнь в их руках, чем умереть здесь? А если это – наши? О проклятые кусты! Зачем вы обросли вокруг меня таким густым забором? Ничего я не вижу сквозь них; только в одном месте будто окошко между ветвями открывает мне вид

вдаль, в лощину. Там, кажется, есть ручеек, из которого мы пили перед боем. Да, вон и огромная песчаниковая плита, положенная через ручеек как мостик. Они, наверно, поедут через нее.

Говор умолкает. Я не могу расслышать языка, на котором они говорят: у меня и слух ослабел. Господи! Если это наши... Я закричу им; они услышат меня и от ручейка. Это лучше, чем рисковать попасть в лапы башибузукам. Что ж они так долго не едут? Нетерпение томит меня; я не замечаю даже и запаха трупа, хотя он нисколько не ослабел.

И вдруг на переходе через ручей показываются казаки! Синие мундиры, красные лампасы, пики. Их целая полусотня. Впереди, на превосходной лошади, чернобородый офицер. Только что полусотня перебралась через ручей, он повернулся на седле всем телом назад и закричал:

– Ры-сью, ма-арш!

– Стойте, стойте, Бога ради! Помогите, помогите, братцы! – кричу я; но топот дюжих коней, стук шашек и шумный казачий говор громче моего хрипенья, – и меня не слышат!

О, проклятие! Я в изнеможении падаю лицом к земле и начинаю рыдать. Из опрокинутой мною фляжки течет вода, моя жизнь, мое спасенье, моя отсрочка смерти. Но я замечаю это уже тогда, когда воды осталось не больше полстакана, а остальная ушла в жадную сухую землю.

Могу ли я припомнить то оцепенение, которое овладело мною после этого ужасного случая? Я лежал неподвижно, с полузакрытыми глазами. Ветер постоянно переменялся и то дул на меня свежим, чистым воздухом, то снова обдавал меня вонью. Сосед в этот день сделался страшнее всякого описания. Раз, когда я открыл глаза, чтобы взглянуть на него, я ужаснулся. Лица у него уже не было. Оно сползло с костей. Страшная костяная улыбка, вечная улыбка показалась мне такой отвратительной, такой ужасной, как никогда, хотя мне случалось не раз держать черепа в руках и препарировать целые головы. Этот скелет в мундире с светлыми пуговицами привел меня в содрогание. «Это война, – подумал я, – вот ее изображение».

А солнце жжет и печет по-прежнему. Руки



и лицо у меня уже давно обожжены. Оставшуюся воду я выпил всю. Жажда мучила так сильно, что, решившись выпить маленький глоток, я залпом проглотил все. Ах, зачем я не закричал казакам, когда они были так близко от меня!

Если бы даже это были и турки, все-таки лучше. Ну, мучили бы час, два, а тут я и не знаю еще, сколько времени придется валяться здесь и страдать. Мать моя, дорогая моя! Вырвешь ты свои седые косы, ударишься головою об стену, проклянешь тот день, когда родила меня, весь мир проклянешь, что выду-

мал на страдание людям войну!

Но вы с Машей, должно быть, и не услышите о моих муках. Прощай, мать, прощай, моя невеста, моя любовь! Ах, как тяжело, горько! Под сердце подходит что-то...

Опять эта беленькая собачка! Дворник не пожалел ее, стукнул головою об стену и бросил в яму, куда бросают сор и льют помои. Но она была жива. И мучилась еще целый день. А я несчастнее ее, потому что мучаюсь целые три дня. Завтра – четвертый, потом пятый, шестой... Смерть, где ты? Иди, иди! Возьми меня!

Но смерть не приходит и не берет меня. И я лежу под этим страшным солнцем, и нет у меня глотка воды, чтоб освежить воспаленное горло, и труп заражает меня. Он совсем расплылся. Мириады червей падают из него. Как они копошатся! Когда он будет съеден и от него останутся одни кости и мундир, тогда – моя очередь. И я буду таким же.

Проходит день, проходит ночь. Все то же. Наступает утро. Все то же. Проходит еще день...

Кусты шевелятся и шелестят, точно тихо



разговаривают. «Вот ты умрешь, умрешь, умрешь!» – шепчут они. «Не увидишь, не увидишь, не увидишь!» – отвечают кусты с другой стороны.

– Да тут их и не увидишь! – громко раздаётся около меня.

Я вздрагиваю и разом прихожу в себя. Из кустов глядят на меня добрые голубые глаза Яковлева, нашего ефрейтора.

– Лопаты! – кричит он. – Тут еще двое, наш да ихний.

«Не надо лопат, не надо зарывать меня, я жив!» – хочу я крикнуть, но только слабый стон выходит из запекшихся губ.

– Господи! Да никак он жив? Барин Иванов! Ребята! Вали сюда, наш барин жив! Да доктора зови!

Через полминуты мне льют в рот воду, водку и еще что-то. Потом все исчезает.

Мерно качаясь, двигаются носилки. Это мерное движение убаюкивает меня. Я то проснусь, то снова забудусь. Перевязанные раны не болят; какое-то невыразимо отрадное чувство разлито во всем теле...

– Сто-о-ой! О-опуска-ай! Санитары, четвертая смена, марш! За носилки! Берись, по-ды-ма-ай!

Это командует Петр Иванович, наш лазаретный офицер, высокий, худой и очень добрый человек. Он так высок, что, обернув глаза в его сторону, я постоянно вижу его голову с редкой длинной бородой и плечи, хотя носилки несут на плечах четыре рослые солдата.

– Петр Иванович! – шепчу я.

– Что, голубчик?

Петр Иванович наклоняется надо мною.

– Петр Иванович, что вам сказал доктор? Скоро я умру?

– Что вы, Иванов, полноте! Не умрете вы. Ведь у вас все кости целы. Этакий счастливец! Ни кости, ни артерии. Да как вы выжили эти трое с половиною суток? Что вы ели?

– Ничего.

– А пили?

– У турка взял флягу. Петр Иванович, я не могу говорить теперь. После.

– Ну, Господь с вами, голубчик, спите себе. Снова сон, забытье...

Я очнулся в дивизионном лазарете. Надо мною стоят доктора, сестры милосердия, и, кроме них, я вижу еще знакомое лицо знаменитого петербургского профессора, наклонившегося над моими ногами. Его руки в крови. Он возится у моих ног недолго и обращается ко мне:

– Ну, счастлив ваш Бог, молодой человек! Живы будете. Одну ножку-то мы от вас взяли; ну, да ведь это – пустяки. Можете вы говорить?

Я могу говорить и рассказываю им все, что здесь написано.

*1877*

# Трус

Война решительно не дает мне покоя. Я ясно вижу, что она затягивается, и когда кончится – предсказать очень трудно. Наш солдат остался тем же необыкновенным солдатом, каким был всегда, но противник оказался вовсе не таким слабым, как думали, и вот уже четыре месяца, как война объявлена, а на нашей стороне еще нет решительного успеха. А между тем каждый лишний день уносит сотни людей. Нервы, что ли, у меня так устроены, только военные телеграммы с обозначением числа убитых и раненых производят на меня действие гораздо более сильное, чем на окружающих. Другой спокойно читает: «Потери наши незначительны, ранены такие-то офицеры, нижних чинов убито 50, ранено 100», и еще радуется, что мало, а у меня при чтении такого известия тотчас появляется перед глазами целая кровавая картина. Пятьдесят мертвых, сто изувеченных – это незначительная вещь! Отчего же мы так возмущаемся, когда газеты приносят известие о каком-нибудь убийстве, когда жертвами явля-

ются несколько человек? Отчего вид пронизанных пулями трупов, лежащих на поле битвы, не поражает нас таким ужасом, как вид внутренности дома, разграбленного убийцей? Отчего катастрофа на тилигульской насыпи, стоившая жизни нескольким десяткам человек, заставила кричать о себе всю Россию, а на аванпостные дела с «незначительными» потерями тоже в несколько десятков человек никто не обращает внимания?

Несколько дней тому назад Львов, знакомый мне студент-медик, с которым я часто спорю о войне, сказал мне:

– Ну, посмотрим, миролюбец, как-то вы будете проводить ваши гуманные убеждения, когда вас заберут в солдаты и вам самим придется стрелять в людей.

– Меня, Василий Петрович, не заберут: я зачислен в ополчение.

– Да если война затянется, тронут и ополчение. Не храбритесь, придет и ваш черед.

У меня сжалось сердце. Как эта мысль не пришла мне в голову раньше? В самом деле, тронут и ополчение – тут нет ничего невозможного. «Если война затянется...» Да она, на-

верно, затянется. Если не протянется долго эта война, все равно начнется другая. Отчего ж и не воевать? Отчего не совершать великих дел? Мне кажется, что нынешняя война – только начало грядущих, от которых не уйду ни я, ни мой маленький брат, ни грудной сын моей сестры. И моя очередь придет очень скоро.

Куда ж денется твое «я»? Ты всем существом своим протестуешь против войны, а все-таки война заставит тебя взять на плечи ружье, идти умирать и убивать. Да нет, это невозможно! Я, смиренный, добродушный молодой человек, знавший до сих пор только свои книги, да аудиторию, да семью и еще несколько близких людей, думавший через год-два начать иную работу, труд любви и правды; я, наконец, привыкший смотреть на мир объективно, привыкший ставить его перед собою, думавший, что всюду я понимаю в нем зло и тем самым избегаю этого зла, – я вижу все мое здание спокойствия разрушенным, а самого себя напяливающим на свои плечи то самое рубище, дыры и пятна которого я сейчас только рассматривал. И никакое

развитие, никакое познание себя и мира, никакая духовная свобода не дадут мне жалкой физической свободы – свободы располагать своим телом.

Львов посмеивается, когда я начинаю излагать ему свои возмущения против войны.

– Относитесь, батюшка, к вещам попроще, легче жить будет, – говорит он. – Вы думаете, что мне приятна эта резня? Кроме того, что она приносит всем бедствие, она и меня лично обижает: она не дает мне доучиться. Устроят ускоренный выпуск, ушлют резать руки и ноги. А все-таки я не занимаюсь бесплодными размышлениями об ужасах войны, потому что, сколько я ни думай, я ничего не сделаю для ее уничтожения. Право, лучше не думать, а заниматься своим делом. А если пошлют раненых лечить, поеду и лечить. Что ж делать, в такое время нужно жертвовать собой. Кстати, вы знаете, что Маша едет сестрой милосердия?

– Неужели?

– Третьего дня решила, а сегодня ушла практиковаться в перевязках. Я ее не отгова-

ривал; спросил только, как она думает устроиться со своим ученьем. «После, говорит, доучусь, если жива буду». Ничего, пусть едет сестренка, доброму научится.

– А что ж Кузьма Фомич?

– Кузьма молчит, только мрачность на себя напустил зверскую и заниматься совсем перестал. Я за него рад, что сестра уезжает, право, а то просто извелся человек; мучится, тенью за ней ходит, ничего не делает. Ну, уж эта любовь! – Василий Петрович покрутил головой. – Вот и теперь побежал привести ее домой, будто она не ходила по улицам всегда одна!

– Мне кажется, Василий Петрович, это нехорошо, что он живет с вами.

– Конечно, нехорошо, да кто же мог предвидеть это? Нам с сестрой эта квартира велика: одна комната остается лишняя – отчего ж не пустить в нее хорошего человека? А хороший человек взял да и врезался. Да мне, по правде сказать, и на нее досадно: ну чем Кузьма хуже ее! Добрый, неглупый, славный. А она точно его не замечает. Ну, вы, однако, убирайтесь из моей комнаты; мне некогда.



Если хотите видеть сестру с Кузьмой, подождите в столовой, они скоро придут.

– Нет, Василий Петрович, мне тоже некогда, прощайте!

Только что я вышел на улицу, как увидел Марью Петровну и Кузьму. Они шли молча: Марья Петровна с принужденно-сосредоточенным выражением лица впереди, а Кузьма немного сбоку и сзади, точно не смея идти с нею рядом и иногда бросая искоса взгляд на ее лицо. Они прошли мимо, не заметив меня.

Я не могу ничего делать и не могу ни о чем думать. Я прочитал о третьем плевненском бое. Выбыло из строя двенадцать тысяч одних русских и румын, не считая турок... Двенадцать тысяч... Эта цифра то носится передо мною в виде знаков, то растягивается бесконечной лентой лежащих рядом трупов. Если их положить плечо с плечом, то составитя дорога в восемь верст... Что же это такое?

Мне говорили что-то про Скобелева, что он куда-то кинулся, что-то атаковал, взял какой-то редут или его у него взяли... я не помню. В этом страшном деле я помню и вижу

только одно – гору трупов, служащую пьедесталом грандиозным делам, которые занесутся на страницы истории. Может быть, это необходимо; я не берусь судить, да и не могу; я не рассуждаю о войне и отношусь к ней непосредственным чувством, возмущенным массой пролитой крови. Бык, на глазах которого убивают подобных ему быков, чувствует, вероятно, что-нибудь похожее... Он не понимает, чему его смерть послужит, и только с ужасом смотрит выкатившимися глазами на кровь и ревет отчаянным, надрывающим душу голосом.

Трус я или нет?

Сегодня мне сказали, что я трус. Сказала, правда, одна очень пустая особа, при которой я выразил опасение, что меня заберут в солдаты, и нежелание идти на войну. Ее мнение не огорчило меня, но возбудило вопрос: не трус ли я в самом деле? Быть может, все мои возмущения против того, что все считают великим делом, исходят из страха за собственную кожу? Стоит ли действительно заботиться о какой-нибудь одной неважной жизни в виду

великого дела! И в силах ли я подвергнуть свою жизнь опасности вообще ради какого-нибудь дела?

Я недолго занимался этими вопросами. Я припомнил всю свою жизнь, все те случаи, – правда, немногие, – в которых мне приходилось стоять лицом к лицу с опасностью, и не мог обвинить себя в трусости. Тогда я не боялся за свою жизнь и теперь не боюсь за нее. Стало быть, не смерть пугает меня...

Всё новые битвы, новые смерти и страдания. Прочитав газету, я не в состоянии ни за что взяться: в книге вместо букв – валящиеся ряды людей; перо кажется оружием, наносящим белой бумаге черные раны. Если со мной так будет идти дальше, право, дело дойдет до настоящих галлюцинаций. Впрочем, теперь у меня явилась новая забота, немного отвлекшая меня от одной и той же гнетущей мысли.

Вчера вечером я пришел к Львовым и застал их за чаем. Брат и сестра сидели у стола, а Кузьма быстро ходил из угла в угол, держась рукой за распухшее и обвязанное платком лицо.

– Что с тобой? – спросил я его.

Он не ответил, а только махнул рукой и продолжал ходить.

– У него разболелись зубы, сделался флюс и огромный нарыв, – сказала Марья Петровна. – Я просила его вовремя сходить к доктору, да он не послушался, а теперь вот до чего дошло.

– Доктор сейчас придет; я заходил к нему, – сказал Василий Петрович.

– Очень нужно было, – процедил сквозь зубы Кузьма.

– Да как же не нужно, когда у тебя может сделаться подкожное излияние? И еще ходишь, несмотря на мои просьбы лечь. Ты знаешь, чем это иногда кончается?

– Чем бы ни кончилось, все равно, – пробормотал Кузьма.

– Вовсе не все равно, Кузьма Фомич; не говорите глупостей, – тихо сказала Марья Петровна.

Довольно было этих слов, чтобы Кузьма успокоился. Он даже подсел к столу и попросил себе чаю. Марья Петровна налила и протянула ему стакан. Когда он брал стакан из ее рук, его лицо приняло самое восторженное

выражение, и это выражение так мало шло к смешной, безобразной опухоли щеки, что я не мог не улыбнуться. Львов тоже усмехнулся; одна Марья Петровна сострадательно и серьезно смотрела на Кузьму.

Приехал свежий, здоровый, как яблоко, доктор, большой весельчак. Когда он осмотрел шею больного, его обычное веселое выражение лица переменилось на озабоченное.

– Пойдемте, пойдемте в вашу комнату; мне нужно хорошенько осмотреть вас.

Я пошел за ним в комнату Кузьмы.

Доктор уложил его в постель и начал осматривать верхнюю часть груди, осторожно трогая ее пальцами.

– Ну-с, вы извольте лежать смирно и не вставать. Есть у вас товарищи, которые пожертвовали бы немного своим временем для вашей пользы? – спросил доктор.

– Есть, я думаю, – ответил Кузьма недоумевающим тоном.

– Я попросил бы их, – сказал доктор, любезно обращаясь ко мне, – с этого дня дежурить при больном и, если покажется что-нибудь новое, приехать за мной.

Он вышел из комнаты; Львов пошел проводить его в переднюю, где они долго разговаривали о чем-то вполголоса, а я пошел к Марье Петровне. Она задумчиво сидела, опершись головою об одну руку и медленно шевеля другою ложечку в чашке с чаем.

– Доктор приказал дежурить около Кузьмы.

– Разве в самом деле есть опасность? – тревожно спросила Марья Петровна.

– Вероятно, есть; иначе зачем были бы эти дежурства? Вы не откажетесь ходить за ним, Марья Петровна?

– Ах, конечно нет! Вот и на войну не ездила, а уж приходится быть сестрой милосердия. Пойдемте к нему; ему ведь очень скучно лежать одному.

Кузьма встретил нас улыбнувшись, насколько ему позволила опухоль.

– Вот спасибо, – сказал он, – а я думал уж, что вы меня забыли.

– Нет, Кузьма Фомич, теперь мы вас не забудем: нужно дежурить около вас. Вот до чего доводит непослушание, – улыбаясь, сказала Марья Петровна.

– И вы будете? – робко спросил Кузьма.

– Буду, буду, только слушайте меня.

Кузьма закрыл глаза и покраснел от удовольствия.

– Ах, да, – сказал он вдруг, обращаясь ко мне, – дай мне, пожалуйста, зеркало: вон на столе лежит.

Я подал ему маленькое круглое зеркало; Кузьма попросил меня посветить ему и с помощью зеркала осмотрел больное место. После этого осмотра лицо его потемнело, и, несмотря на то, что мы втроем старались занять его разговорами, он весь вечер не вымолвил ни слова.

Сегодня мне наверно сказали, что скоро потребуют ополченцев; я ждал этого и не был особенно поражен.

Я мог бы избежать участи, которой я так боюсь, мог бы воспользоваться кое-какими влиятельными знакомствами и остаться в Петербурге, состоя в то же время на службе. Меня «пристроили» бы здесь, ну, хоть для отправления писарской обязанности, что ли. Но, во-первых, мне претит прибегать к подоб-

ным средствам, а во-вторых, что-то не подчиняющееся определению сидит у меня внутри, обсуждает мое положение и запрещает мне уклониться от войны. «Нехорошо», – говорит мне внутренний голос.

Случилось то, чего я никак не ожидал.

Я пришел сегодня утром, чтобы занять место Марьи Петровны около Кузьмы. Она встретила меня в дверях бледная, измученная бессонной ночью и с заплаканными глазами.

– Что такое, Марья Петровна, что с вами?

– Тише, тише, пожалуйста, – зашептала она. – Знаете, ведь все кончено.

– Что кончено? Не умер же он?

– Нет, еще не умер... только надежды никакой. Оба доктора... мы ведь другого позвали...

Она не могла говорить от слез.

– Подите, посмотрите... Пойдемте к нему.

– Вытрите сначала слезы и выпейте воды, а то вы его совсем расстроите.

– Все равно... Разве он уже не знает? Он еще вчера знал, когда просил зеркало; ведь сам скоро был бы доктором.

Тяжелый запах анатомического театра на-



полнял комнату, где лежал больной. Его кровать была выдвинута на середину комнаты. Длинные ноги, большое туловище, руки, вытянутые по бокам тела, резко обозначились под одеялом. Глаза были закрыты, дыхание медленно и тяжело. Мне показалось, что он похудел за одну ночь; лицо его приняло скверный земляной оттенок и было липко и влажно.

– Что с ним? – спросил я шепотом.

– Пусть он сам... Оставайтесь с ним, я не могу.

Она ушла, закрыв лицо руками и вздрагивая от сдерживаемых рыданий, а я сел около постели и ждал, пока Кузьма проснется. Мертвая тишина была в комнате; только карманные часы, лежавшие на столике около постели, выстукивали свою негромкую песенку да слышалось тяжелое и редкое дыхание больного. Я смотрел на его лицо и не узнавал его; не то чтобы его черты слишком переменялись – нет; но я увидел его в совершенно новом для меня свете. Я знал Кузьму давно и был с ним приятелем (хотя особенной дружбы между нами не существовало), но никогда

мне не приходилось так входить в его положение, как теперь. Я припомнил его жизнь, неудачи и радости, как будто бы они были моими. В его любви к Марье Петровне я до сих пор видел больше комическую сторону, а теперь понял, какие муки должен был испытывать этот человек. «Неужели он в самом деле так опасен? – думал я. – Не может быть; не может же человек умереть от глупой зубной боли. Марья Петровна плачет о нем, но он выздоровеет, и все будет хорошо».

Он открыл глаза и увидел меня. Не переменив выражения лица, он заговорил медленно, делая остановки после каждого слова:

– Здравствуй... Вот видишь, каков я... Конец наступил. Подкрался так неожиданно... глупо...

– Скажи мне наконец, Кузьма, что с тобой? Может быть, вовсе и не так дурно.

– Не дурно, ты говоришь? Нет, брат, очень дурно. На таких пустяках не ошибусь. На, смотри!

Он медленно, методически отвернул одеяло, расстегнул рубашку, и на меня пахнуло невыносимым трупным запахом. Начиная от

шеи, на правой стороне, на пространстве ладони, грудь Кузьмы была черна, как бархат, слегка покрытый сизым налетом. Это была гангрена.

Вот уже четыре дня, как я не смыкаю глаз у постели больного, то вместе с Марьей Петровной, то с ее братом. Жизнь, кажется, едва держится в нем, а все не хочет оставить его сильного тела. Кусок черного мертвого мяса ему вырезали и выбросили, как тряпку, и доктор велел нам каждые два часа промывать большую рану, оставшуюся после операции. Каждые два часа мы, вдвоем или втроем, приступаем к постели Кузьмы, поворачиваем и приподымаем его огромное тело, обнажаем страшную язву и поливаем ее через гуттаперчевую трубку водою с карболовой кислотой. Она брызжет по ране, и Кузьма иногда находит силы даже улыбаться, «потому что, – объясняет он, – щекотно». Как всем редко болевшим людям, ему очень нравится, что за ним ухаживают, как за ребенком, а когда Марья Петровна берет в руки, как он говорит, «бразды правления», то есть гуттаперчевую трубку,

и начинает его поливать, он бывает особенно доволен и говорит, что никто не умеет делать этого так искусно, как она, несмотря на то, что трубка часто дрожит в ее руках от волнения и вся постель бывает облита водою.

Как изменились их отношения! Марья Петровна, бывшая для Кузьмы чем-то недостижимым, на что он и смотреть боялся, почти не обращавшая на него внимания, теперь часто тихонько плачет, сидя у его постели, когда он спит, и нежно ухаживает за ним; а он спокойно принимает ее заботливость как должное и говорит с нею, точно отец с маленькой дочерью.

Иногда он очень страдает. Рана его горит, лихорадка трясет его... Тогда мне приходят в голову странные мысли. Кузьма кажется мне единицею, одной из тех, из которых составляются десятки тысяч, написанные в реляциях. Его болезнью и страданиями я пробую измерить зло, причиняемое войной. Сколько муки и тоски здесь, в одной комнате, на одной постели, в одной груди – и все это одна лишь капля в море горя и мук, испытываемых огромною массою людей, которых посылают

вперед, ворочают назад и кладут на полях грудями мертвых и еще стонущих и копошащихся окровавленных тел.

Я совершенно измучен бессонницей и тяжелыми мыслями. Нужно попросить Львова или Марью Петровну посидеть за меня, а я засну хоть на два часа.

Я спал мертвым сном, прикорнув на маленьком диванчике, и проснулся, разбуженный толчками в плечо.

– Вставайте, вставайте! – говорила Марья Петровна.

Я вскочил и в первую минуту ничего не понимал. Марья Петровна что-то быстро и испуганно шептала.

– Пятна, новые пятна! – разобрал я наконец.

– Какие пятна, где пятна?

– Ах, Боже мой, он ничего не понимает! У Кузьмы Фомича новые пятна показались. Я уже послала за доктором.

– Да, может быть, и пустое, – сказал я с равнодушием только что разбуженного человека.

– Какое пустое, посмотрите сами!

Кузьма спал, раскинувшись, тяжелым и беспокойным сном; он метался головой из стороны в сторону и иногда глухо стонал. Его грудь была раскрыта, и я увидел на ней, на вершок ниже раны, покрытой повязкой, два новых черных пятнышка. Это гангрена проникла дальше под кожу, распространилась под ней и вышла в двух местах наружу. Хотя я и до этого мало надеялся на выздоровление Кузьмы, но эти новые решительные признаки смерти заставили меня побледнеть.

Марья Петровна сидела в углу комнаты, опустив руки на колени, и молча смотрела на меня отчаянными глазами.

– Да вы не приходите в отчаяние, Марья Петровна. Придет доктор, посмотрит; может быть, еще не все кончено. Может быть, еще выручим его.

– Нет, не выручим, умрет, – шептала она.

– Ну, не выручим, умрет, – отвечал я ей так же тихо, – для всех нас, конечно, это большое горе, но нельзя же так убиваться: ведь вы эти дни на мертвеца стали похожи.

– Знаете ли вы, какую муку я испытываю в

эти дни? И сама не могу объяснить себе, отчего это. Я ведь не любила его, да и теперь, кажется, не люблю так, как он меня, а умрет он – сердце у меня разорвется. Все мне будет вспоминаться его пристальный взгляд, его постоянное молчание при мне, несмотря на то, что он умел говорить и любил говорить. Навсегда останется в душе упрек, что не пожалела я его, не оценила его ума, сердца, его привязанности. Может быть, это и смешно вам покажется, но теперь меня постоянно мучает мысль, что, люби я его – жили бы мы совсем иначе, все бы иначе случилось, и этого страшного, нелепого случая могло бы и не быть. Думаешь-думаешь, оправдываешься-оправдываешься, а на дне души все что-то повторяет: виновата, виновата, виновата...

Тут я взглянул на больного, боясь, что он проснется от нашего шепота, и увидел перемену в его лице. Он проснулся и слышал, что говорит Марья Петровна, но не хотел показать этого. Его губы дрожали, щеки разгорелись, все лицо точно осветило солнцем, как освещается мокрый и печальный луг, когда раздвинутся тучи, нависшие над ним, и дадут



выглянуть солнышку. Должно быть, он забыл и болезнь и страх смерти; одно чувство наполнило его душу и вылилось двумя слезинками из закрытых дрожащих век. Марья Петровна смотрела на него несколько мгновений как будто испуганно, потом покраснела, нежное выражение мелькнуло на ее лице, и, наклонясь над бедным полутрупом, она поцеловала его.

Тогда он открыл глаза.

– Боже мой, как не хочется умирать! – проговорил он.

И в комнате вдруг раздались странные ти-



хие, хлипающие звуки, совершенно новые для моего уха, потому что раньше я никогда не видел этого человека плачущим.

Я ушел из комнаты. Я сам чуть было не разревелся.

Мне тоже не хочется умирать, и всем этим тысячам тоже не хочется умирать. У Кузьмы хоть утешение нашлось в последние минуты, – а там? Кузьма, вместе с страхом смерти и физическими страданиями, испытывает такое чувство, что вряд ли он променял бы свои теперешние минуты на какие-нибудь другие из своей жизни. Нет, это совсем не то! Смерть всегда будет смертью, но умереть среди близких и любящих или валяясь в грязи и собственной крови, ожидая, что вот-вот приедут и добьют или наедут пушки и раздавят, как червяка...

– Я вам скажу откровенно, – говорил мне доктор в передней, надевая шубу и калоши, – что в подобных случаях, при госпитальном лечении, умирают девяносто девять из ста. Я надеюсь только на тщательный уход, на прекрасное расположение духа больного и на его

горячее желание выздороветь.

– Всякий больной желает выздороветь, доктор.

– Конечно, но у вашего товарища есть некоторые усиливающие обстоятельства, – сказал доктор с улыбочкой. – Итак, сегодня вечером мы сделаем операцию – прорежем ему новое отверстие, вставим дренажи, чтобы лучше действовать водою, и будем надеяться.

Он пожал мне руку, запахнул свою медвежью шубу и поехал по визитам, а вечером явился с инструментами.

– Может быть, угодно вам, мой будущий коллега, для практики сделать операцию? – обратился он к Львову.

Львов кивнул головою, засучил рукава и с серьезно-мрачным выражением лица приступил к делу. Я видел, как он запустил в рану какой-то удивительный инструмент с трехгранным острием, видел, как острие пронзило тело, как Кузьма вцепился руками в постель и защелкал зубами от боли.

– Ну, не бабничай, – упрямо говорил ему Львов, вставляя дренаж в новую ранку.

– Очень больно? – ласково спросила Марья

Петровна.

– Не так больно, голубушка, а ослабел я, измучился.

Положили повязки, дали Кузьме вина, и он успокоился. Доктор уехал, Львов ушел в свою комнату заниматься, а мы с Марьей Петровной стали приводить комнату в порядок.

– Поправьте одеяло, – проговорил Кузьма ровным, беззвучным голосом. – Дует.

Я начал поправлять ему подушку и одеяло по его собственным указаниям, которые он делал очень придирчиво, уверяя, что где-то около левого локтя есть маленькая дырочка, в которую дует, и прося лучше подсунуть одеяло. Я старался сделать это как можно лучше, но, несмотря на все мое усердие, Кузьме все-таки дуло то в бок, то в ноги.

– Неумелый ты какой, – тихо брюзжал он, – опять в спину дует. Пусть она.

Он взглянул на Марью Петровну, и мне стало очень ясно, почему я не сумел угодить ему.

Марья Петровна поставила склянку с лекарством, которую держала в руках, и подошла к постели.

– Поправить?

– Поправьте... Вот хорошо... тепло!..

Он смотрел на нее, пока она управлялась с одеялом, потом закрыл глаза и с детски-счастливым выражением на измученном лице заснул.

– Вы пойдете домой? – спросила Марья Петровна.

– Нет, я выспался отлично и могу сидеть; а впрочем, если я не нужен, то уйду.

– Не ходите, пожалуйста, поговоримте хоть немножко. Брат постоянно сидит за своими книгами, а мне одной быть с больным, когда он спит, и думать о его смерти так горько, так тяжело!

– Будьте тверды, Марья Петровна, сестре милосердия тяжелые мысли и слезы воспрещаются.

– Да я и не буду плакать, когда буду сестрой милосердия. Все-таки не так тяжело будет ходить за ранеными, как за таким близким человеком.

– А вы все-таки едете?

– Еду, конечно. Выздоровеет он или умрет – все равно поеду. Я уже сжилась с этой

мыслью и не могу отказаться от нее. Хочется хорошего дела, хочется оставить себе память о хороших, светлых днях.

– Ах, Марья Петровна, боюсь я, что не увидите вы свету на войне.

– Отчего? Работать буду – вот вам и свет. Хоть чем-нибудь принять участие в войне мне хочется.

– Принять участие! Да разве она не возбуждает в вас ужаса? Вы ли говорите мне это!

– Я говорю. Кто вам сказал, что я люблю войну? Только... как бы это вам рассказать? Война – зло; и вы, и я, и очень многие такого мнения; но ведь она неизбежна; любите вы ее или не любите, все равно она будет, и если не пойдете драться вы, возьмут другого, и все-таки человек будет изуродован или измучен походом. Я боюсь, что вы не понимаете меня: я плохо выражаюсь. Вот что: по-моему, война есть *общее* горе, *общее* страдание, и уклоняться от нее, может быть, и позволительно, но мне это не нравится.

– Будьте тверды, Марья Петровна, сестре милосердия тяжелые мысли и

слезы воспрещаются.



Я молчал. Слова Марьи Петровны яснее выразили мое смутное отвращение к уклонению от войны. Я сам *чувствовал* то, что она чувствует и думает, только *думал* иначе.

– Вот вы, кажется, всё думаете, как бы постараться остаться здесь, – продолжала она, – если вас заберут в солдаты. Мне брат говорил об этом. Вы знаете, я вас очень люблю, как хорошего человека, но эта черта мне в вас не нравится.

– Что же делать, Марья Петровна! Разные взгляды. За что я буду тут отвечать? Разве я войну начал?

– Не вы, да и никто из тех, кто теперь умер на ней и умирает. Они тоже не пошли бы, если бы могли, но они не могут, а вы можете. Они идут воевать, а вы останетесь в Петербурге – живой, здоровый, счастливый, только потому, что у вас есть знакомые, которые пожалеют послать знакомого человека на войну. Я не беру на себя решать – может быть, это и извинительно, но мне не нравится, нет.

Она энергически покачала кудрявой головой и замолчала.

Наконец вот оно. Сегодня я оделся в серую шинель и уже вкушал корни учения... ружейным приемам. У меня и теперь раздается в ушах:

– Смирно!.. Ряды вздво-ой! Слушай, на кра-аул!

И я стоял смирно, вздваивал ряды и брякал ружьем. И через несколько времени, когда я достаточно постигну премудрость вздваиванья рядов, меня назначат в партию, нас посадят в вагоны, повезут, распределят по полкам, поставят на места, оставшиеся после убитых...

Ну, да это все равно. Все кончено; теперь я не принадлежу себе, я плыву по течению; теперь самое лучшее не думать, не рассуждать, а без критики принимать всякие случайности жизни и разве только выть, когда больно...

Меня поместили в особое отделение казармы для привилегированных, которое отличается тем, что в нем не нары, а кровати, но в котором все-таки достаточно грязно. У непривилегированных новобранцев совсем скверно. Живут они, до распределения по полкам, в



огромном сарае, бывшем манеже: его разделили полатами на два этажа, натащили соломы и предоставили временным обитателям устраиваться как знают. На проходе, идущем посредине манежа, снег и грязь, наносимые со двора ежеминутно входящими людьми, смешались с соломой и образовали какую-то невообразимую слякоть, да и в стороне от него солома не особенно чиста. Несколько сот человек стоят, сидят и лежат на ней группами, состоящими из земляков: настоящая этнографическая выставка. И я разыскал земляков по уезду. Высокие неуклюжие хохлы, в новых свитках и смушковых шапках, лежали тесной кучкой и молчали. Их было человек десять.

– Здравствуйте, братцы.

– Здравствуйте.

– Давно из дому?

– Та вже дві неділи. А вы яки-таки будете? – спросил меня один из них.

Я назвал свое имя, оказавшееся всем им известным. Встретив земляка, они немного оживились и разговорились.

– Скучно? – спросил я.

– Так як же не скучно! Дуже моторно. Коли

б ще годували, а то така страва, що и Боже мій!

– Кудж вж вас теперь?

– А хто ёго зна! Кажуть, пид турку...

– А хочеться на войну?

– Чого я там не бачив?

Я начал расспрашивать о нашем городе, и воспоминания о доме развязали языки. Начались рассказы о недавней свадьбе, для которой была продана пара волов и вскоре после которой молодого забрали в солдаты, о судебном приставе, «сто чортив ему конних у горло», о том, что мало становится земли, и поэтому из слободы Марковки в этом году поднялось несколько сот человек идти на Амур... Разговор держался только на почве прошедшего; о будущем, о тех трудах, опасностях и страданиях, которые ждали всех нас, не говорил никто. Никто не интересовался узнать о турках, о болгарях, о деле, за которое шел умирать.

Проходивший мимо пьяненький солдатик местной команды остановился против нашей кучки и, когда я снова заговорил о войне, авторитетно заявил:

– Этого самого турку бить следует.

– Следует? – спросил я, невольно улыбнувшись уверенности решения.

– Так точно, барин, чтоб и звания его не осталось поганого. Потому от его бунту сколько нам всем муки принять нужно! Ежели бы он, например, без бунту, чтобы благородно, смирно... был бы я теперь дома, при родителях, в лучшем виде. А то он бунтует, а нам огорчение. Это вы будьте спокойны, верно я говорю. Папиросочку пожалуйста, барин! – вдруг оборвал он, вытянувшись передо мной во фронт и приложив руку к козырьку.

Я дал ему папиросу, простился с земляками и пошел домой, так как наступило время, свободное от службы.

«Он бунтует, а нам огорчение», – звенел у меня в ушах пьяный голос. Коротко и неясно, а между тем дальше этой фразы не пойдешь.

У Львовых тоска, уныние. Кузьма очень плох, хотя рана его и очистилась: страшный жар, бред, стоны. Брат и сестра не отходили от него все дни, пока я был занят поступлением на службу и ученьями. Теперь, когда они

знают, что я отправляюсь, сестра стала еще грустнее, а брат еще угрюмее.

– В форме уже! – проворчал он, когда я поздоровался с ним в комнате, закуренной и заваленной книгами. – Эх вы, люди, люди...

– Что же мы за люди, Василий Петрович?

– Заниматься вы мне не даете – вот что! И так времени совсем нет, кончить курса не дадут, пошлют на войну; и так многого узнать не придется, а тут еще вы с Кузьмой.

– Ну, положим, Кузьма умирает, а я-то что?

– Да вы разве не умираете? Не убьют вас – с ума сойдете или пулю в лоб пустите. Разве я не знаю вас, и разве не было примеров?

– Каких примеров? Разве вы знаете что-нибудь подобное? Расскажите, Василий Петрович!

– Отстаньте вы, очень нужно вас еще пуще разогорчать! Вредно вам. И я ничего не знаю, это я так сказал.

Но я пристал к нему, и он рассказал мне свой «пример».

– Мне один раненый офицер-артиллерист рассказывал. Вышли они только что из Кишинева, в апреле, тотчас после объявления

войны. Дожди шли постоянные, дороги исчезли; осталась одна грязь, такая, что орудия и повозки уходили в нее по оси. До того дошло, что лошади не берут; прицепили канаты, поехали на людях. На втором переходе дорога ужасная: на семнадцати верстах двенадцать гор, а между ними все топь. Въехали и стали. Дождь хлещет, на теле ни нитки сухой, проголодались, измучились, а тащить нужно. Ну, конечно, тянет-тянет человек и упадет лицом в грязь без памяти. Наконец добрались до такой трясины, что двинуться вперед было невозможно, а все-таки продолжали надрываться! «Что тут было, – офицер мой говорит, – вспоминать страшно!» Доктор молодой был у них, последнего выпуска, нервный человек. Плачет. «Не могу, говорит, я вынести этого зрелища; уеду вперед». Уехал. Нарубили солдаты веток, сделали чуть не целую плотину и наконец сдвинулись с места. Вывезли батарею на гору: смотрят, а на дереве доктор висит... Вот вам пример. Не мог человек вида мучений вынести, так где ж вам самые-то муки одолеть?

– Василий Петрович, да не легче ли самому

муки нести, чем казнить, как этот доктор?

– Ну, не знаю, что хорошего, что вас самих в дышло запрягут.

– Совесть мучить не будет, Василий Петрович.

– Ну, это, батюшка, что-то тонко. Вы с сестрой об этом поговорите: она насчет этих тонкостей дока. «Анну Каренину» ли по косточкам разобрать или о Достоевском поговорить – все может; а уж эта штука в каком-нибудь романе, наверно, разобрана. Прощайте, философ!

Он добродушно рассмеялся своей шутке и протянул мне руку.

– Вы куда?

– На Выборгскую, в клинику.

Я вошел в комнату Кузьмы. Он не спал и чувствовал себя лучше обыкновенного, как объяснила мне Марья Петровна, неизменно сидевшая около постели. Он еще не видел меня в форме, и мой вид неприятно поразил его.

– Тебя здесь оставят или ушлют в армию? – спросил он.

– Отправят; разве ты не знаешь?

Он молчал.

– Знал, да забыл. Я, брат, теперь вообще мало помню и соображаю... Что ж, поезжай. Нужно.

– И ты, Кузьма Фомич!

– Что «и я»? Разве не правда? Какие твои заслуги, чтоб тебя простили? Иди, помирай! Нужнее тебя есть люди, работающее тебя, и те идут... Поправь мне подушку... вот так.

Он говорил тихо и раздраженно, как будто мстя кому-то за свою болезнь.

– Все это верно, Кузя, да разве я и не иду? Разве я протестую лично за себя? Если бы это было так, я бы остался здесь без дальних разговоров: устроить это нетрудно. Я не делаю этого; меня требуют, и я иду. Но пусть по крайней мере мне не мешают иметь об этом свое собственное мнение.

Кузьма лежал неподвижно, устремив глаза в потолок, как будто не слушая меня. Наконец он медленно повернул ко мне голову.

– Ты не прими моих слов за что-нибудь настоящее, – проговорил он. – Я измучен и раздражен и, право, не знаю, за что придираюсь к людям. Уж очень я стал сварлив; должно быть, скоро помирать пора.

– Полно, Кузьма, подбодрись. Рана очистилась, подживает, все идет к лучшему. Теперь не о смерти, а о жизни говорить следует.

Марья Петровна взглянула на меня большими печальными глазами, и мне вдруг вспомнилось, как она сказала мне две недели тому назад: «Нет, не выздоровеет, умрет».

– А что, если бы в самом деле ожить? Хорошо бы было! – слабо улыбнувшись, сказал Кузьма. – Тебя ушлют драться, и мы с Марьей Петровной поедем: она милосердной сестрицей, а я врачом. И буду я около тебя, раненного, возиться, как ты теперь около меня.

– Будет болтать, Кузьма Фомич, – сказала Марья Петровна, – вредно вам много говорить, да и пора начинать ваше мучение.

Он отдался в наше распоряжение; мы раздели его, сняли повязки и принялись за работу над огромной истерзанной грудью. И когда я направлял струю воды на обнаженные кровавые места, на показавшуюся и блестящую, как перламутр, ключицу, на вену, проходившую через всю рану и лежавшую чисто и свободно, точно это была не рана на живом человеке, а анатомический препарат, я думал о



других ранах, гораздо более ужасных и качеством и подавляющим количеством и, сверх того, нанесенных не слепым, бессмысленным случаем, а сознательными действиями людей.

Я не пишу в эту книжку ни слова о том, что делается и что я испытываю дома. Слезы, которыми встречает и провожает меня мать, какое-то тяжелое молчание, сопровождающее мое присутствие за общим столом, предупредительная доброта братьев и сестер – все это тяжело видеть и слышать, а писать об этом еще тяжелее. Когда подумаешь, что через неделю придется лишиться всего самого дорогого в мире, слезы подступают под горло...

Вот наконец и прощанье. Завтра утром, чуть свет, наша партия отправляется по железной дороге. Мне позволили провести последнюю ночь дома; и я сижу в своей комнате один, в последний раз! В последний раз! Знает ли кто-нибудь, не испытывавший такого последнего раза, всю горечь этих двух слов? В последний раз разошлась семья, в последний

раз я пришел в эту маленькую комнату и сел к столу, освещенному знакомой низенькой лампой, заваленному книгами и бумагой. Целый месяц я не прикасался к ним. В последний раз я беру в руки и рассматриваю начатую работу. Она оборвалась и лежит мертвая, недоношенная, бессмысленная. Вместо того чтобы кончать ее, ты идешь, с тысячами тебе подобных, на край света, потому что истории понадобились твои физические силы. Об умственных забудь: они никому не нужны. Что до того, что многие годы ты воспитывал их, готовился куда-то применить их? Огромному неведомому тебе организму, которого ты составляешь ничтожную часть, захотелось отрезать тебя и бросить. И что можешь сделать против такого желания ты,

... ты, палец от ноги?...

Однако довольно. Пора лечь и постараться заснуть; завтра нужно встать очень рано.

Я просил, чтобы меня никто не провожал на железную дорогу. Дальние проводы – лишние слезы. Но когда я уже сидел в вагоне, на-

битом людьми, я ощутил такое щемящее душу одиночество, такую тоску, что, кажется, отдал бы все на свете, чтоб хоть несколько минут провести с кем-нибудь из близких. Наконец настал назначенный час, но поезд не тронулся: что-то задержало его. Прошло полчаса, час, полтора, а он все еще стоял. В эти полтора часа я успел бы побывать дома... Может быть, кто-нибудь не утерпит и приедет... Нет, ведь все думают, что поезд уже ушел; никто не станет рассчитывать на опоздание. А все-таки, может быть... И я смотрел в ту сторону, откуда могли ко мне прийти. Никогда время не тянулось так долго.

Резкие звуки рожка, игравшего сбор, заставили меня вздрогнуть. Солдаты, вылезшие из вагонов и толпившиеся на платформе, торопились усаживаться. Сейчас тронется поезд, и я никого не увижу.

Но я увидел. Львовы, брат и сестра, почти бежали к вагону, и я ужасно обрадовался им. Не помню, что я говорил им, не помню, что они мне говорили, кроме одной только фразы: «Кузьма умер».

На этой фразе кончаются заметки в записной книжке. Широкое снежное поле. Белые холмы окружают его, на них белые же, заиндевевшие деревья. Небо пасмурно, низко; в воздухе чувствуется оттепель. Трещат ружья, слышатся частые удары пушечных выстрелов; дым покрывает один из холмов и медленно сползает с него на поле. Сквозь него чернеет движущаяся масса. Когда взглядишься в нее пристальнее, то видишь, что она состоит из отдельных черных точек. Многие из этих точек уже неподвижны, но другие все двигаются и двигаются вперед, хотя им еще далеко до цели, видимой только по массе дыма, несущегося с нее, и хотя их число с каждым мгновением становится все меньше и меньше.

Батальон резерва, лежавший в снегу, не оставив ружья в козлы, а держа их в руках, следил за движением черной массы всею тысячью своих глаз.

– Пошли, братцы, пошли... Эх, не дойдут!

– И чего это только нас держат? С подмогой живо бы взяли.

– Жизнь тебе надоела, что ли? – утрюмо

сказал пожилой солдат из «билетных». – Лежи, коли положили, да благодари Бога, что цел.

– Да я, дяденька, цел буду, не сомневайтесь, – отвечал молодой солдат с веселым лицом. – Я в четырех делах был, хоть бы что! Оно спервоначалу только боязно, а потом – ни Боже мой! Вот барину нашему впервой, так он небось у Бога прощенья просит. Барин, а барин?

– Чего тебе? – отозвался худощавый солдат с черной бородкой, лежавший возле.

– Вы, барин, глядите веселее!

– Да я, голубчик, и так не скучаю.

– Вы меня держитесь, ежели что. Уж я бывал, знаю. Ну, да у нас барин молодец, не побегит. А то был такой до вас вольноопределяющий, так тот, как пошли мы, как зачали пули летать, бросил он и сумки и ружье; побег, а пуля ему вдогонку, да в спину. Так нельзя, потому – присяга.

– Не бойся, не побегу... – тихо отвечал «барин». – От пули не убежишь.

– Известно, где от ей убежать! Она шельма... Батюшки светы! Никак, наши-то стали!

Черная масса остановилась и задымила выстрелами.

– Ну, палить стали, сейчас назад... Нет, вперед пошли. Выручай, Мать Пресвятая Богородица! Ну-ка еще, ну, ну... Эка раненых-то валится, Господи! И не подбирают.

– Пуля! Пуля! – раздался вокруг говор.

В воздухе действительно что-то зашуршало. Это была залетная, шальная пуля, перелетевшая через резервы. Вслед за ней полетела другая, третья. Батальон оживился.

– Носилки! – закричал кто-то.

Шальная пуля сделала свое дело. Четверо солдат с носилками бросились к раненому. Вдруг на одном из холмов, в стороне от пункта, на который велась атака, показались маленькие фигурки людей и лошадей, и тотчас же оттуда вылетел круглый и плотный клуб дыма, белого как снег.

– В нас, подлец, метит! – закричал веселый солдат.

Завизжала и заскрежетала граната, раздавался выстрел. Веселый солдат уткнулся лицом в снег. Когда он поднял голову, то увидел, что «барин» лежит рядом с ним ничком, рас-

кинув руки и неестественно изогнув шею. Другая шальная пуля пробила ему над правым глазом огромное черное отверстие.

*1879*

# Встреча

На десятки верст протянулась широкая и дрожжащая серебряная полоса лунного света; остальное море было черно; до стоявшего на высоте доходил правильный, глухой шум раскатывавшихся по песчаному берегу волн; еще более черные, чем самое море, силуэты судов покачивались на рейде; один огромный пароход («вероятно, английский», – подумал Василий Петрович) поместился в светлой полосе луны и шипел своими парами, выпуская их клочковатой, тающей в воздухе струей; с моря несло сырым и соленым воздухом; Василий Петрович, до сих пор не выдавший ничего подобного, с удовольствием смотрел на море, лунный свет, пароходы, корабли и радостно, в первый раз в жизни, вдыхал морской воздух. Он долго наслаждался новыми для него ощущениями, повернувшись спиной к городу, в который приехал только сегодня и в котором должен был жить многие и многие годы. За ним пестрая толпа публики гуляла по бульвару, слышалась то русская, то нерусская речь, то чинные и тихие голоса местных



почтенных особ, то щебетанье барышень, громкие и веселые голоса взрослых гимназистов, ходивших кучками около двух или трех из них. Взрыв хохота в одной из таких групп заставил Василия Петровича обернуться. Веселая гурьба шла мимо; один из юношей говорил что-то молоденькой гимназистке; товарищи шумели и перебивали его горячую и, по видимому, оправдательную речь.

– Не верьте, Нина Петровна! Все врет! Выдумывает!

– Да право же, Нина Петровна, я несколько не виноват!

– Если вы, Шевырев, еще когда-нибудь вздумаете меня обманывать... – принужденно-чинным молодым голоском заговорила девушка.

Конца Василий Петрович не дослышал, потому что гурьба прошла мимо. Через полминуты из темноты вновь послышался взрыв смеха.

«Вот она, моя будущая нива, на которой я, как скромный пахарь, буду работать», – подумал Василий Петрович, во-первых, потому, что он был назначен учителем в местную

гимназию, а во-вторых, потому, что любил фигуральную форму мысли, даже когда не высказывал ее вслух. «Да, придется работать на этом скромном поприще, – думал он, вновь садясь на скамью лицом к морю. – Где мечты о профессуре, о публицистике, о громком имени? Не хватило пороху, брат Василий Петрович, на все эти затеи; попробуй-ка здесь поработать!»

И красивые и приятные мысли зашевелились в голове нового учителя гимназии. Он думал о том, как он будет с первых классов гимназии угадывать «искру Божию» в мальчиках; как будет поддерживать натуры, «стремящиеся сбросить с себя иго тьмы»; как под его надзором будут развиваться молодые, свежие силы, «чуждые житейской грязи»; как, наконец, из его учеников со временем могут выйти замечательные люди... Даже такие картины рисовались в его воображении: сидит он, Василий Петрович, уже старый, седой учитель, у себя, в своей скромной квартире, и посещают его бывшие его ученики, и один из них – профессор такого-то университета, известный «у нас и в Европе», другой –

писатель, знаменитый романист, третий – общественный деятель, тоже известный. И все они относятся к нему с уважением. «Это ваши добрые семена, запавшие в мою душу, когда я был мальчиком, сделали из меня человека, уважаемый Василий Петрович», – говорит общественный деятель и с чувством жмет руку своему старому учителю...

Впрочем, Василий Петрович недолго занимался такими возвышенными предметами, скоро мысль его перешла на вещи, непосредственно касавшиеся его настоящего положения. Он вынул из кармана новый бумажник и, пересчитав свои деньги, начал размышлять о том, сколько у него останется за покрытием всех необходимых расходов. «Как жаль, что я так необдуманно тратил деньги дорогою, – подумал он. – Квартира... ну, положим, рублей двадцать в месяц, стол, белье, чай, табак... Тысячу рублей в полгода, во всяком случае, сберегу. Наверно, здесь можно будет достать уроки по хорошей цене, этак рубля по четыре, по пяти...» Чувство довольства охватило его, и ему захотелось полезть в карман, где лежали два рекомендательные письма на

имя местных тузов, и в двадцатый раз перечсть их адреса. Он вынул письма, бережно развернул бумагу, в которой они были завернуты, но прочсть адреса ему не удалось, потому что лунный свет не был достаточно силен, чтобы доставить Василию Петровичу это удовольствие. Вместе с письмами была завернута фотографическая карточка. Василий Петрович повернул ее прямо к месяцу и старался рассмотреть знакомые черты. «О, моя Лиза!» – проговорил он почти вслух и вздохнул не без приятного чувства. Лиза была его невеста, оставшаяся в Петербурге и ожидавшая, пока Василий Петрович не скопит тысячи рублей, которую молодая чета считала необходимою для первоначального обзаведения.

Вздыхнув, он спрятал в левый боковой карман карточку и письма и принялся мечтать о будущей семейной жизни. И эти мечты показались ему еще приятнее, чем даже мечты об общественном деятеле, который придет к нему благодарить за посеянные в его сердце добрые семена.

Море шумело далеко внизу, ветер стано-

вился свежее. Английский пароход вышел из полосы лунного света, и она блестела, сплошная, и переливалась тысячами матово-блестящих всплесков, уходя в бесконечную морскую даль и становясь все ярче и ярче. Не хотелось встать со скамьи, оторваться от этой картины и идти в тесный номер гостиницы, в котором остановился Василий Петрович. Однако было уже поздно; он встал и пошел вдоль по бульвару.

Господин, в легком костюме из шелковой сырцовой материи и в соломенной шляпе, с навернутым на тулью кисейным полотенцем (летний костюм местных щеголей), встал со скамейки, мимо которой проходил Василий Петрович, и сказал:

– Позвольте закурить.

– Сделайте одолжение, – ответил Василий Петрович.

Красный отблеск озарил знакомое ему лицо.

– Николай, друг мой! Ты ли это?

– Василий Петрович?

– Он самый... Ах, как я рад! Вот не думал, не гадал, – говорил Василий Петрович, заклю-

чая друга в объятия и троекратно лобзая его. –  
Какими судьбами?

– Очень просто, на службе. А ты как?

– Я учителем гимназии сюда назначен.  
Только что приехал.

– Где же ты остановился? Если в гостинице, едем, пожалуйста, ко мне. Я очень рад видеть тебя. У тебя ведь нет здесь знакомых? Поедем ко мне, поужинаем, поболтаем, вспомним старину.

– Поедем, поедем, – согласился Василий Петрович. – Я очень, очень рад! Приехал сюда, как в пустыню, – и вдруг такая радостная встреча. Извозчик! – закричал он.

– Не нужно, не кричи. Сергей, давай! – громко и спокойно произнес друг Василия Петровича.

К тротуару подкатила щегольская коляска, хозяин вскочил в нее. Василий Петрович стоял на тротуаре и в недоумении смотрел на экипаж, вороных коней и толстого кучера.

– Кудряшов, эти лошади – твои?

– Мои, мои! Что, не ожидал?

– Удивительно... Ты ли это?

– Кто же другой, как не я? Ну, полезай в ко-

ляску, еще успеем поговорить.

Василий Петрович влез в коляску, уселся рядом с Кудряшовым, и коляска покатила, дребезжа и подскакивая по мостовой. Василий Петрович сидел на мягких подушках и, покачиваясь, улыбался. «Что за притча! – думал он. – Давно ли Кудряшов был беднейшим студентом, а теперь – коляска!» Кудряшов, положив вытянутые ноги на переднюю скамейку, молчал и курил сигару. Через пять минут экипаж остановился.

– Ну, братец, выходи. Покажу тебе мою скромную хижину, – сказал Кудряшов, сойдя с подножки и помогая Василию Петровичу вылезть.

Прежде чем войти в скромную хижину, гость окинул ее взглядом. Луна была за нею и не освещала ее; поэтому он мог заметить только, что хижина была одноэтажная, каменная, в десять или двенадцать больших окон. Зонтик на колонках с завитками, кое-где позолоченными, висел над дверью из тяжелого дуба с зеркальными стеклами, бронзовой ручкой в виде птичьей лапы, держащей хрустальный многогранник, и блестящей

медной доской с фамилией хозяина.

– Однако хижина у тебя, Кудряшов! Это не хижина, а, так сказать, палаццо, – сказал Василий Петрович, когда они вошли в переднюю с дубовой мебелью и зиявшим черною пастью камином. – Неужели собственная?

– Нет, брат, до этого еще не дошло. Нанимаю. Недорого, полторы тысячи.

– Полторы! – протянул Василий Петрович.

– Выгоднее платить полторы тысячи, чем затратить капитал, который может дать гораздо больший процент, если не обращен в недвижимость. Да и денег много нужно: ведь уж если строить, так не этакую дрянь.

– Дрянь! – воскликнул в изумлении Василий Петрович.

– Конечно, дом неважный. Ну, пойдем, пойдем скорее...

Василий Петрович успел уже снять пальто и направился за хозяином. Обстановка квартиры Кудряшова дала новую пищу его удивлению. Целый ряд высоких комнат с паркетными полами, оклеенных дорогими, тисненными золотом, обоями; столовая «под дуб» с развешанными по стенам плохими моделями



дичи, с огромным резным буфетом, с большим круглым столом, на который лился целый поток света из висячей бронзовой лампы с молочным абажуром; зал с роялем, множеством разной мебели из гнutoго бука, диванчиков, скамеек, табуреток, стульев, с дорожками литографиями и скверными олеографиями в раззолоченных рамах; гостиная, как водится, с шелковой мебелью и кучей ненужных вещей. Казалось, хозяин квартиры вдруг разбогател, выиграл двести тысяч, что ли, и на скорую руку устроил себе квартиру на широкую ногу. Все было куплено сразу, куплено не потому, что было нужно, а потому, что в кармане зашевелились деньги, нашедшие себе выход для покупки рояля, на котором, насколько знал Василий Петрович, Кудряшов мог играть только одним пальцем; скверной старой картины, одной из десятков тысяч, приписываемых второстепенному фламандскому мастеру, на которую, наверно, никто не обращал внимания; шахматов китайской работы, в которые нельзя было играть, так они были тонки и воздушны, но в головках у которых было выточено по три шарика, заклю-

ченных один в другой, и множества других ненужных вещей.

Друзья вошли в кабинет. Здесь было уютнее. Большой письменный стол, заставленный разною бронзовою и фарфоровою мелочью, заваленный бумагами, чертежными и рисовальными принадлежностями, занимал середину комнаты. По стенам висели огромные раскрашенные чертежи и географические карты, а под ними стояли два низеньких турецких дивана с шелковыми мутаками. Кудряшов, обняв Василия Петровича за талию, подвел его прямо к дивану и усадил на мягких тюфяках.

– Ну, очень рад, очень рад встретить старого товарища, – сказал он.

– Я тоже... Знаешь ли, приехал, как в пустыню, и вдруг такая встреча! Знаешь ли, Николай Константиныч, при виде тебя так много зашевелилось в душе, так много воскресло в памяти воспоминаний...

– О чем это?

– Как о чем? О студенчестве, о времени, когда жилось так хорошо, если не в материальном, то в нравственном отношении. Пом-

НИШЬ...

– Что помнить-то? Как мы с тобою собачью колбасу жрали? Будет, брат, надоело... Сигару хочешь? Regalia Imperialia, или как там ее; знаю только, что полтинник штука.

Василий Петрович взял из ящика предлагаемую драгоценность, вынул из кармана ножичек, обрезал кончик сигары, закурил ее и сказал:

– Николай Константиныч, я решительно как во сне. Каких-нибудь несколько лет – и у тебя такое место.

– Что место! Место, брат, плюнь да отойди.

– Как же это? Да ты сколько получаешь?

– Каких? Жалованья?

– Ну да, содержания.

– Жалованья получаю я, инженер, губернский секретарь Кудряшов-второй, тысячу шестьсот рублей в год.

У Василия Петровича вытянулось лицо.

– Как же это? Откуда это все?

– Эх, брат, простота ты! Откуда? Из воды и земли, из моря и суши. А главное, вот откуда.

И он ткнул себя указательным пальцем в лоб.

– Видишь вон эти картинки, что по стенам висят?

– Вижу, – ответил Василий Петрович, – что же дальше?

– Знаешь ли, что это?

– Нет, не знаю.

Василий Петрович встал с дивана и подошел к стене. Синяя, красная, бурая и черная краски ничего не говорили его уму, равно как и какие-то таинственные цифры около точечных линий, сделанные красными чернилами.

– Что это такое? Чертежи?

– Чертежи-то чертежи, но чего?

– Право, друг мой, не знаю.

– Чертежи эти изображают, милейший Василий Петрович, будущий мол. Знаешь, что такое мол?

– Ну, конечно. Ведь я все-таки учитель русского языка. Мол – это такая... как бы сказать... ну, плотина, что ли...

– Именно плотина. Плотина, служащая для образования искусственной гавани. На этих чертежах изображен мол, который теперь строится. Ты видел море сверху?

– Как же, конечно! Необыкновенная карти-

на! Но постройку я не заметил.

– Мудрено и заметить, – сказал Кудряшов со смехом. – Этот мол почти весь не в море, Василий Петрович, а здесь, на суше.

– Где же это?

– Да вот у меня и у прочих строителей: у Кноблоха, Пуйциковского и у прочих. Это – между нами, конечно: тебе я говорю это как товарищу. Что ты так уставился на меня? Дело самое обыкновенное.

– Послушай, это, наконец, ужасно! Неужели ты говоришь правду? Неужели ты не брезгаешь нечестными средствами для достижения этого комфорта? Неужели все прошлое служило только для того, чтобы довести тебя до... до... И ты так спокойно говоришь об этом...

– Стой, стой, Василий Петрович! Пожалуйста, без сильных выражений. Ты говоришь: «нечестные средства»? Ты мне скажи сперва, что значит честно и что значит нечестно. Сам я не знаю; быть может, забыл, а думаю, что и не помнил; да сдастся мне, и ты, собственно говоря, не помнишь, а так только напяливаешь на себя какой-то мундир. Да и вообще ты

это оставь; прежде всего это невежливо. Уважай свободу суждения. Ты говоришь – нечестно; говори, пожалуй, но не брани меня: ведь я не ругаю тебя за то, что ты не одного со мною мнения. Все дело, брат, во взгляде, в точке зрения, а так как их много, точек этих, то плюнем мы на это дело и пойдем в столовую водку пить и о приятных предметах разговаривать.

– Ах, Николай, Николай, больно мне смотреть на тебя.

– Это ты можешь; можешь душою болеть, сколько тебе угодно. Пусть будет больно; пройдет! Приглядишься, присмотришься, сам скажешь: «какая я, однако, телятина»; так и скажешь, помяни мое слово. Пойдем-ка, выпьем по рюмочке и забудем о заблудших инженерах; на то и мозги, дружище, чтобы заблуждаться... Ведь ты, учитель мой любезный, сколько будешь получать, а?

– Тебе все равно.

– Ну, например?

– Ну, тысячи три заработаю с частными уроками.

– Вот видишь: за три-то тысячи таскаться

всю жизнь по урокам! А я сижу себе да по-сматриваю: хочу – делаю, хочу – нет; если бы фантазия пришла хоть целый день в потолок плевать, и то можно. А денег... денег столько, что они – «вещь для нас пустая».

В столовой, куда они вошли, все было готово для ужина. Холодный ростбиф возвышался розовой горой. Банки с консервами пестрели разноцветными английскими надписями и яркими рисунками. Целый ряд бутылок воздвигался на столе. Приятели выпили по рюмке водки и приступили к ужину. Кудряшов ел медленно и с расстановкою; он совершенно углубился в свое занятие.

Василий Петрович ел и думал, думал и ел. Он был в большом смущении и решительно не знал, как ему быть. По принятым им убеждениям, он должен был бы поспешно скрыться из дома своего старого товарища и никогда в него больше не заглядывать. «Ведь этот кусок – краденый, – думал он, положив себе в рот кусок и прихлебывая подлитое обязательным хозяином вино. – А сам что я делаю, как не подлость?» Много таких определений шевелилось в голове бедного учителя, но опре-

деления так и остались определениями, а за ними скрывался какой-то тайный голос, возражавший на каждое определение: «Ну, так что ж?» И Василий Петрович чувствовал, что он не в состоянии разрешить этого вопроса, и продолжал сидеть. «Ну что ж, буду наблюдать», – мелькнуло у него в голове в виде оправдания, после чего он и сам перед собой сконфузился. «Для чего мне наблюдать, писатель я, что ли?»

– Этакого мяса, – начал Кудряшов, – ты обрати внимание, не достанешь в целом городе.

И он рассказал Василию Петровичу длинную историю о том, как он обедал у Кноблоха, как его поразил своим достоинством поданный ростбиф, как он узнал, откуда доставать такой, и как, наконец, достал.

– Ты попал как раз кстати, – сказал он в заключение рассказа о мясе. – Едал ли ты что-нибудь подобное?

– Действительно, ростбиф отличный, – ответил Василий Петрович.

– Превосходный, братец. Я люблю, чтобы все было как следует. Да что ты не пьешь? Постой, вот я тебе налью вина.



Последовала не менее длинная история о вине, в которой участвовал и английский шкипер, и торговый дом в Лондоне, и тот же Кноблех, и таможня. Рассказывая о вине, Кудряшов попивал его и, по мере того как пил, оживлялся. На щеках его вялого лица обозначались румяные пятна, речь становилась быстрее и оживленнее.

– Да что ж ты молчишь? – наконец спросил он Василия Петровича, который действительно упорно молчал, выслушивая эпопеи о мясе, вине, сыре и прочих благодатях, украшавших собою стол инженера.

– Так, брат, не говорится что-то.

– Не говорится... вот вздор! Ты, я вижу, все еще киснешь по поводу моего признания. Жалею, очень жалею, что сказал; с большим бы удовольствием поужинали, если б не этот проклятый мол... Да ты лучше не думай об этом, Василий Петрович, брось... А? Васенька, плюнь, право! Что ж делать, братец, не оправдал я надежд. Жизнь – не школа. Да я не знаю, долго ли и ты удержишься на своей стезе.

– Пожалуйста, не делай обо мне предположений, – сказал Василий Петрович.

– Обиделся?... Конечно, не удержишься. Что дало тебе твое бескорыстие? Разве ты теперь спокоен? Разве не думаешь каждый день о том, согласны ли твои поступки с твоими идеалами, и не убеждаешься ли каждый день в том, что не согласны? Ведь правда, а? Выпей вина, хорошее вино.

Он налил и себе рюмку, посмотрел на свет, попробовал, щелкнул губами и выпил.

– Ведь вот, любезный мой друг, ты думаешь, я не знаю, какая у тебя в голове теперь мысль сидит? Доподлинно знаю. «Зачем, думаешь ты, я у этого человека сижу? Очень он мне нужен! Разве не могу я обойтись без его вина и сигар?» Постой, постой, дай договорить! Я вовсе не думаю, что ты сидишь у меня из-за вина и сигар. Во все нет; если бы ты и очень захотел их, так не стал бы лизоблюдничать. Лизоблюдство – вещь очень тяжелая. Ты сидишь у меня и говоришь со мною просто потому, что не можешь решить, действительно ли я преступник. Не возмущаю я тебя, да и все. Конечно, для тебя это очень обидно, потому что в твоей голове расположены под разными рубриками убеждения, и, подогнанный

под них, я, твой бывший товарищ и друг, оказываюсь мерзавцем, а между тем вражды ко мне ты никакой чувствовать не можешь. Убеждения убеждениями, а я сам по себе товарищ, добрый малый и даже, можно сказать, добрый человек. Ведь ты знаешь, что я не способен никого обидеть...

– Постой, Кудряшов. Откуда у тебя все это? – Василий Петрович обвел рукой. – Сам говоришь, чужое: ну, тот и обижен, у кого похищено.

– Легко сказать: у кого похищено. Я вот думаю, думаю, кого я обидел, – и все не могу понять кого. Ты не знаешь, как это делается; я расскажу тебе, и ты, может быть, согласишься со мною, что найти обиженного не так-то легко.

Кудряшов позвонил. Явилась бесстрастная лакейская фигура в черном фраке.

– Иван Павлыч, принеси мне из кабинета чертеж. Между окнами висит. Ты посмотри, Василий Петрович, дело-то какое грандиозное: право, я даже поэзию в нем нынче находить стал.

Иван Павлыч бережно принес огромный

лист, наклеенный на коленкор. Кудряшов взял его, раздвинул около себя тарелки, бутылки и рюмки и разложил чертеж на забрызганной красным вином скатерти.

– Посмотри сюда, – сказал он. – Вот тебе поперечный разрез нашего мола, вот его продольный разрез. Видишь голубую краску? Это море. Глубина его здесь настолько велика, что начинать кладку со дна нельзя; поэтому мы готовим для мола прежде всего постель.

– Постель? – спросил Василий Петрович. – Странное название.

– Постель каменную, из огромных булыжников, не меньше одного кубического фута объемом. – Кудряшов отвинтил от часового ключика крошечный серебряный циркуль и взял им на чертеже какую-то маленькую линию. – Смотри, Василий Петрович, – это сажень. Если мы ею смерим постель поперек, то окажется без малого пятьдесят сажен ширины. Не узка постелька, не правда ли? Такой ширины каменная масса выводится со дна моря до шестнадцати футов ниже его поверхности. Если ты сообразишь ширину постели и

огромную длину, то можешь иметь некоторое представление о громадности этой массы камня. Иногда, знаешь ли, целый день барка за баркой подходит к молу, барка за баркой выбрасывает свой груз, а смеряешь – приращение самое ничтожное. Точно в бездну валят камень... Постель выкрашена здесь на плане грязно-серой краской. Ее подвигают вперед, а от берега начинается на ней уже другая работа. Паровыми кранами спускают на эту постель огромнейшие искусственные камни, кубические глыбы, слепленные из булыжника и цемента. Каждый такой кусок величиною в кубическую сажень и весит многие сотни пудов. Пар поднимает их, поворачивает и укладывает рядами. Странное чувство испытываешь, когда легким нажатием руки заставляешь такую массу подниматься и опускаться по своему желанию. Когда такая масса повинуется тебе, чувствуешь могущество человека... Видишь, вот они, эти кубики. – Он показал циркулем. – Кладка из них доводится почти до поверхности воды, а на ней начинается уже верхняя каменная кладка из тесаного камня. Так вот какое это дело;

оно не уступит любой египетской пирамиде. Вот тебе в общих чертах работа, которая тянется уже несколько лет, а сколько времени еще протянется – Бог знает. Желательно бы, чтобы подольше... Впрочем, если она будет идти так, как последнее время, то, пожалуй, на наш век хватит.

– Ну, что ж дальше? – спросил Василий Петрович после долгого молчания.

– Дальше? Ну, а мы сидим на своих местах и получаем, сколько следует.

– Я еще не вижу из твоего рассказа возможности получить.

– Молод ты, вот что! Впрочем, мы с тобой, кажется, ровесники; только опыт, которого тебе не хватает, умудрил и состарил меня. Дело вот в чем: тебе известно, что во всяком море бывают бури? Они-то и действуют. Они размывают каждый год постель, а мы кладем новую.

– Все ж я не вижу возможности...

– Кладем мы ее, – спокойно продолжал Кудряшов, – на бумаге, вот здесь, на чертеже, потому что только на чертеже буря ее и размывает.

Василий Петрович весь превратился в недоумение.

– Потому что не могут же на самом деле размыть постель волны, достигающие только восьми футов высоты. Наше море не океан, да и там такие молы, как наш, выдерживают; а у нас на двух с лишним саженьях глубины, где кончается постель, почти что мертвая тишина. Слушай, Василий Петрович, как дела делаются. Весною, после осенних и зимних непогод, мы собираемся и ставим вопрос: сколько в этом году размыло постели? Берем чертежи и отмечаем. Ну, и пишем, куда следует: размыло, дескать, бурями столько-то и столько-то кубических сажен начатых работ. Оттуда отвечают: стройте, чините, черт с вами! Ну, мы и чиним.

– Да что ж вы чините-то?

– Да карманы себе чиним, – сострил Кудряшов и сам рассмеялся своей остроте.

– Нет, это невозможно! невозможно! – закричал Василий Петрович, вскакивая со стула и бегая по комнате. – Слушай, Кудряшов, ведь ты губишь себя... Не говоря о безнравственности... Я просто хочу сказать, что вас

всех поймают на этом, и ты погибнешь, по Владимирке пойдешь. Боже, Боже, вот они надежды, упования! Способный и честный юноша – и вдруг...

Василий Петрович вошел в экстаз и говорил долго и горячо. Но Кудряшов совершенно спокойно курил сигару и посматривал на расходившегося друга.

– Да, ты, наверно, пойдешь по Владимирке! – закончил Василий Петрович свою филиппику.

– До Владимирки, друг мой, очень далеко. Чудной ты человек, я посмотрю: ничего-то ты не понимаешь. Разве я один... как бы это повежливее сказать... приобретаю? Все вокруг, самый воздух – и тот, кажется, тащит. Недавно явился к нам один новенький и стал было по части честности корреспонденции писать. Что ж? Прикрыли... И всегда прикроем. Все за одного, один за всех. Ты думаешь, что человек сам себе враг? Кто ж решится меня тронуть, когда через это сам может пошатнуться.

– Стало быть, как сказал Крылов, рыльце-то у всех в пушку?

– В пушку, в пушку. Все берут с жизни, что



могут, а не относятся к ней платонически... О чем бишь мы начали говорить? Да о том, кого я обижаю. Скажи, кого? Низшую братию, что ли? Ну, чем? Ведь я черпаю не прямо из источника, а беру готовое, что уж взято, и если не достанется мне, то, может быть, кому-нибудь и похуже. По крайней мере я не по-свински живу, есть кое-какие и духовные интересы: выписываю кучу газет, журналов. Кричат о науке, о цивилизации, а к чему бы эта цивилизация прилагалась, если бы не мы, люди со средствами? И кто бы давал науке возможность двигаться вперед, как не люди со средствами? А их нужно откуда-нибудь взять. Так называемыми честными путями...

– Ах, не доканчивай, не говори ты хоть последнего слова, Николай Константиныч!

– Слова? Что ж, лучше было бы, кривая твоя душа, если бы я стал врать, оправдываться? Ворую, слышишь ли ты? Да если правду-то говорить, то и ты теперь воруюешь.

– Послушай, Кудряшов...

– Нечего мне тебя слушать, – сказал со смехом Кудряшов. – Ты таки, брат, грабитель под личиною добродетели. Ну, что это за занятие

твое – учительство? Разве ты уплатишь своим трудом даже те гроши, что тебе теперь платят? Приготовишь ли ты хоть одного порядочного человека? Три четверти из твоих воспитанников выйдут такие же, как я, а одна четверть такими, как ты, то есть благонамеренной размазнею. Ну, не даром ли ты берешь деньги, скажи откровенно? И далеко ли ты ушел от меня? А тоже храбрится, честность проповедует!

– Кудряшов! Поверь, что мне чрезвычайно тяжел этот разговор.

– А мне – нисколько.

– Я не ожидал встретить в тебе то, что встретил.

– Немудрено; люди изменяются, и я изменился, а в какую сторону – ты угадать не мог: не пророк ведь.

– Не нужно быть пророком, чтобы надеяться, что честный юноша сделается честным гражданином.

– Ах, оставь, не говори ты мне этого слова. Честный гражданин! И откуда, из какого учебника ты эту архивность вытащил? Пора бы перестать сентиментальничать: не маль-

чик ведь... Знаешь что, Вася, – при этом Кудряшов взял Василия Петровича за руку, – будь другом, бросим этот проклятый вопрос. Лучше выпьем по-товарищески. Иван Павлыч! Дай, брат, бутылочку вот этого.

Иван Павлыч немедленно явился с новой бутылкой. Кудряшов налил стаканы.

– Ну, выпьем за процветание... чего бы это? Ну, все равно: за наше с тобой процветание.

– Пью, – сказал Василий Петрович с чувством, – за то, чтобы ты опомнился. Это мое сильнейшее желание.

– Будь друг, не поминай... Ведь если опомниться, так уж пить будет нельзя: тогда зубы на полку. Видишь, какая у тебя логика. Будем пить просто, без всяких пожеланий. Бросим эту скучную канитель; все равно ни до чего не договоримся: ты меня на путь истинный не наставишь, да и я тебя не переспорю. Да и не стоит переспоривать: собственным умом до моей философии дойдешь.

– Никогда! – с жаром воскликнул Василий Петрович, стукнув стаканом об стол.

– Ну, это посмотрим. Да что это все я про

себя рассказываю, а ты о себе молчишь? Что ты делал, что думаешь делать?

– Я говорил уже тебе, что назначен учителем.

– Это твое первое место?

– Да, первое; я занимался раньше частными уроками.

– И теперь думаешь заниматься ими?

– Если найду, отчего же.

– Доставим, брат, доставим! – Кудряшов хлопнул Василия Петровича по плечу. – Все здешнее юношество тебе в науку отдадим. Почему ты брал за час в Петербурге?

– Мало. Очень трудно было доставать хорошие уроки. Рубль-два, не больше.

– И за такие гроши человек терзается! Ну, здесь меньше пяти и не смей спрашивать. Это работа трудная: я сам помню, как на первом и на втором курсе по урочишкам бегал. Бывало, добудешь по полтиннику за час – и рад. Самая неблагоприятная и трудная работа. Я тебя перезнакомлю со всеми нашими; тут есть премиальные семейства, и с барышнями. Будешь умно себя вести – сосватаю, если хочешь. А, Василий Петрович?

– Нет, благодарю, я не нуждаюсь.

– Сосватан уже? Правда?

Василий Петрович выразил своим видом смущение.

– По глазам вижу, что правда. Ну, брат, поздравляю. Вот как скоро! Ай да Вася! Иван Павлыч! – закричал Кудряшов.

Иван Павлыч с заспанным и сердитым лицом появился в дверях.

– Дай шампанского!

– Шампанского нету, все вышло, – мрачно отвечал лакей.

– Будет, Кудряшов, зачем же это, право!

– Молчи; я тебя не спрашиваю. Обидеть меня хочешь, что ли? Иван Павлыч, без шампанского не приходите, слышишь? Ступай!

– Да ведь заперто, Николай Константиныч.

– Не разговаривай. Деньги у тебя есть: ступай и принеси.

Лакей ушел, ворча что-то себе под нос.

– Вот скотина, еще разговаривает! А ты еще: «не нужно». Если по такому случаю не пить, то для чего и существует шампанское?...

Ну, кто такая?

– Кто?

– Ну, она, невеста... Бедна, богата, хороша?

– Ты все равно ее не знаешь, так зачем называть ее тебе? Состояния у нее нет, а красота – вещь условная. По-моему, красива.

– Карточка есть? – спросил Кудряшов. – Поди, при сердце носишь. Покажи!

И он протянул руку.

Красное от вина лицо Василия Петровича еще более покраснело. Не зная зачем, он растегнул сюртук, вынул свою книжку и достал драгоценную карточку. Кудряшов схватил ее и начал рассматривать.

– Ничего, брат! Ты знаешь, где раки зимуют.

– Нельзя ли без таких выражений! – резко сказал Василий Петрович. – Дай ее мне, я спрячу.

– погоди, дай насладиться. Ну, дай вам Бог совет да любовь. На, возьми, положи опять на сердце. Ах ты, чудак, чудак! – воскликнул Кудряшов и расхохотался.

– Не понимаю, что ты нашел тут смешного?

– А так, братец, смешно стало. Представился мне ты через десять лет; сам в халате, по-

дурневшая беременная жена, семь человек детей и очень мало денег для покупки им башмаков, штанишек, шапочек и всего прочего. Вообще, проза. Будешь ли ты тогда носить эту карточку в боковом кармане? Ха-ха-ха!

– Ты скажи лучше, какая поэзия ждет в будущем тебя? Получать деньги и проживать их: есть, пить да спать?

– Не есть, пить и спать, а жить. Жить с сознанием своей свободы и некоторого даже могущества.

– Могущества! Какое у тебя могущество?

– Сила в деньгах, а у меня есть деньги. Что хочу, то и сделаю... Захочу тебя купить – и куплю.

– Кудряшов!..

– Не хорохорься попусту. Неужели нам с тобою, старым друзьям, нельзя и пошутить друг над другом? Конечно, тебя покупать не стану. Живи себе по-своему. А все-таки что хочу, то и сделаю. Ах я, дурень, дурень! – вдруг вскрикнул Кудряшов, хлопнув себя по лбу, – сидим столько времени, а я тебе главной достопримечательности-то и не показал. Ты го-

воришь: есть, пить и спать? Я тебе сейчас такую штуку покажу, что ты откажешься от своих слов. Пойдем. Возьми свечу.

– Куда это? – спросил Василий Петрович.

– За мной. Увидишь куда.

Василий Петрович, встав со стула, чувствовал себя не в полном порядке. Ноги не совсем повиновались ему, и он не мог держать подсвечник так, чтобы стеарин не капал на ковер. Однако, несколько справившись с непослушными членами, он пошел за Кудряшовым. Они прошли несколько комнат, узенький коридор и очутились в каком-то сыром и темном помещении. Шаги глухо стучали по каменному полу. Шум падающей где-то струи воды звучал бесконечным аккордом. С потолка висели сталактиты из туфа и синеватого литого стекла; целые искусственные скалы возвышались здесь и там. Масса тропической зелени прикрывала их, а в некоторых местах блестели темные зеркала.

– Что это такое? – спросил Василий Петрович.

– Аквариум, которому я посвятил два года времени и много денег. Подожди, я сейчас



освещу его.

Кудряшов скрылся за зелень, а Василий Петрович подошел к одному из зеркальных стекол и начал рассматривать, что было за ним. Слабый свет одной свечки не мог проникнуть далеко в воду, но рыбы, большие и маленькие, привлеченные светлой точкой, собрались в освещенном месте и глупо смотрели на Василия Петровича круглыми глазами, раскрывая и закрывая рты и шевеля жабрами и плавниками. Дальше виднелись темные очертания водорослей. Какая-то гадина шевелилась в них; Василий Петрович не мог рассмотреть ее формы.

*«Что это такое?» – спросил Василий Петрович. «Аквариум, которому я посвятил два года времени и много денег».*

Вдруг поток ослепительного света заставил его на мгновение закрыть глаза, и когда он открыл их, то не узнал аквариум. Кудряшов в двух местах зажег электрические фонари: свет их проходил сквозь массу голубоватой воды, кишашую рыбами и другими животными, наполненную растениями, резко выделявшимися на неопределенном фоне своими

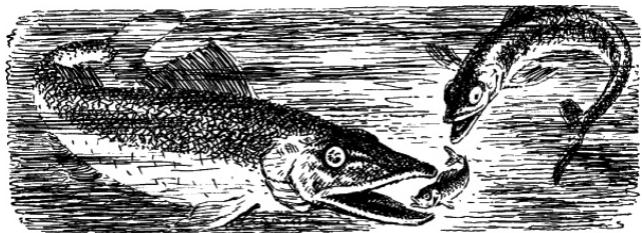


кровоаво-красными, бурыми и грязно-зелеными силуэтами. Скалы и тропические растения, от контраста сделавшиеся еще темнее, красиво обрамляли толстые зеркальные стекла, сквозь которые открывался вид на внутренность аквариума. В нем все закопошилось, заметалось, испуганное ослепительным светом: целая стая маленьких большеголовых бычков носилась туда и сюда, поворачиваясь точно по команде; стерляди извивались, прильнув мордой к стеклу, и то поднимались до поверхности воды, то опускались ко дну, точно хотели пройти через прозрачную твердую преграду; черный гладкий угорь зарывался в песок аквариума и поднимал целое облако мути; смешная кургузая каракатица отцепилась от скалы, на которой сидела, и переплывала аквариум толчками, задом наперед, волоча за собой свои длинные щупала. Все вместе было так красиво и ново для Василия Петровича, что он совершенно забылся.

– Каково, Василий Петрович? – спросил Кудряшов, выйдя к нему.

– Чудесно, брат, удивительно! Как это ты все устроил! Сколько вкуса, эффекта!

– Прибавь еще: и знания. Нарочно в Берлин ездил посмотреть тамошнее чудо и, не хвастая, скажу, что мой хотя и уступает, конечно, в величине, но насчет изящества и интересности – нисколько... Это моя гордость и утешение. Как скучно станет – придешь сюда, сядешь и смотришь по целым часам. Я люблю всю эту тварь за то, что она откровенна, не так, как наш брат – человек. Жрет друг друга и не конфузится. Вон смотри, смотри: видишь, нагоняет.



Маленькая рыбка порывисто металась вверх, и вниз, и в стороны, спасаясь от какого-то длинного хищника. В смертельном страхе она выбрасывалась из воды на воздух, пряталась под уступы скалы, а острые зубы везде нагоняли ее. Хищная рыба уже готова была схватить ее, как вдруг другая, подскочив сбо-

ку, перехватила добычу: рыбка исчезла в ее пасти. Преследовательница остановилась в недоумении, а похитительница скрылась в темный угол.

– Перехватили! – сказал Кудряшов. – Дура, осталась ни при чем. Стоило гоняться для того, чтобы из-под носа выхватили кусок!.. Сколько, если бы ты знал, они пожирают этой мелкой рыбицы: сегодня напустишь целую тучу, а на другой день все уже съедено. Съедят – и не помышляют о безнравственности, а мы? Я только недавно отвык от этой ерунды. Василий Петрович! Неужели ты наконец не согласишься, что это ерунда?

– Что такое? – спросил Василий Петрович, не отрывая глаз от воды.

– Да вот эти угрызения. На что они? Угрызайся не угрызайся – а если попадетя кусок... Ну, я и упразднил их, угрызения эти, и стараюсь подражать этой скотине.

Он показал пальцем на аквариий.

– Вольному воля, – сказал со вздохом Василий Петрович. – Послушай, Кудряшов, ведь это, кажется, морские растения и животные?

– Морские. И вода ведь у меня морская. На-

рочно водопровод устроил.

– Неужели из моря? Но ведь это должно стоить огромных денег.

– Не маленьких. Аквариий мой стоит около тридцати тысяч.

– Тридцать тысяч! – воскликнул в ужасе Василий Петрович. – При тысяче шестистах рублях жалованья!

– Да брось ты это ужасанье! Если насмотрелся – пойдем. Должно быть, Иван Павлыч принес требуемое... Подожди только, я разомкну ток.

Аквариий вновь погрузился в мрак. Свеча, продолжавшая гореть, показалась Василию Петровичу тусклым, коптящим огоньком.

Когда они вышли в столовую, Иван Павлыч держал уже наготове завернутую в салфетку бутылку.

1879

# Художники

## І. Дедов

Сегодня я чувствую себя так, как будто бы сгора свалилась с моих плеч. Счастье было так неожиданно! Долой инженерские погоны, долой инструменты и сметы!

Но не стыдно ли так радоваться смерти бедной тетки только потому, что она оставила наследство, дающее мне возможность бросить службу? Правда, ведь она, умирая, просила меня отдаться вполне моему любимому занятию, и теперь я радуюсь, между прочим, и тому, что исполняю ее горячее желание. Это было вчера... Какую изумленную физиономию сделал наш шеф, когда узнал, что я бросаю службу! А когда я объяснил ему цель, с которою я делаю это, он просто разинул рот.

– Из любви к искусству?... Мм!.. Подавайте прошение.

И не сказал больше ничего, повернулся и ушел. Но мне ничего больше и не было нужно. Я свободен, я художник! Не верх ли это счастья?

Мне захотелось уйти куда-нибудь подальше.

ше от людей и от Петербурга; я взял ялик и отправился на взморье. Вода, небо, сверкающий вдали на солнце город, синие леса, окаймляющие берега залива, верхушки мачт на кронштадтском рейде, десятки пролетавших мимо меня пароходов и скользивших парусных кораблей и лайб – все показалось мне в новом свете. Все это мое, все это в моей власти, все это я могу схватить, бросить на полотно и поставить перед изумленной силою искусства толпою. Правда, не следовало бы продавать шкуру еще не убитого медведя; ведь пока я – еще не бог знает какой великий художник...

Ялик быстро разрезал гладь воды. Яличник, рослый, здоровый и красивый парень в красной рубахе, без устали работал веслами; он то нагибался вперед, то откидывался назад, сильно подвигая лодку при каждом движении. Солнце закатывалось и так эффектно играло на его лице и на красной рубахе, что мне захотелось набросать его красками. Маленький ящик с холстинами, красками и кистями всегда при мне.

– Перестань грести, посиди минутку смир-



но, я тебя напишу, – сказал я.

Он бросил весла.

– Ты сядь так, будто весла заносишь.

Он взялся за весла, взмахнул ими, как птица крыльями, и так и замер в прекрасной позе. Я быстро набросал карандашом контур и принялся писать. С каким-то особенным радостным чувством я мешал краски. Я знал, что ничто не оторвет меня от них уже всю жизнь.

Яличник скоро начал уставать; его удалое выражение лица сменилось вялым и скучным. Он стал зевать и один раз даже утер рукавом лицо, для чего ему нужно было наклониться головою к веслу. Складки рубахи совсем пропали. Такая досада! Терпеть не могу, когда натура шевелится.

– Сиди, братец, смирнее!

Он усмехнулся.

– Чего ты смеешься?

Он конфузливо ухмыльнулся и сказал:

– Да чудно, барин!

– Чего ж тебе чудно?

– Да будто я редкостный какой, что меня писать. Будто картину какую.

- Картина и бюджет, друг любезный.
  - На что ж она вам?
  - Для ученья. Вот напишу, напишу маленькие, буду и большие писать.
  - Большие?
  - Хоть в три сажени.
- Он замолчал и потом серьезно спросил:
- Что ж, вы поэтому и образа можете?
  - Могу и образа; только я пишу картины.
  - Так.
- Он задумался и снова спросил:
- На что ж они?
  - Что такое?
  - Картины эти...

Конечно, я не стал читать ему лекции о значении искусства, а только сказал, что за эти картины платят хорошие деньги, рублей по тысяче, по две и больше. Яличник был совершенно удовлетворен и больше не заговаривал. Этюд вышел прекрасный (очень красивы эти горячие тоны освещенного заходящим солнцем кумача), и я возвратился домой совершенно счастливым.

## **II. Рябинин**

Передо мною стоит в натянутом положе-

нии старик Тарас, натурщик, которому профессор Н. велел положить «рука на галава», потому что это «ошен классишеский поза»; вокруг меня – целая толпа товарищей, так же, как и я, сидящих перед мольбертами с палитрами и кистями в руках. Впереди всех Дедов, хотя и пейзажист, но усердно пишет *Тараса*. В классе запах красок, масла, терпентина и мертвая тишина. Каждые полчаса Тарасу дается отдых; он садится на край деревянного ящика, служащего ему пьедесталом, и из «натуры» превращается в обыкновенного голого старика, разминает свои оцепеневшие от долгой неподвижности руки и ноги, обходится без помощи носового платка и прочее. Ученики теснятся около мольбертов, рассматривая работы друг друга. У моего мольберта всегда толпа; я – очень способный ученик академии и подаю огромные надежды сделаться одним из «наших корифеев», по счастливому выражению известного художественного критика г. В. С., который уже давно сказал, что «из Рябина выйдут толк». Вот отчего все смотрят на мою работу.

Через пять минут все снова усаживаются

на места, Тарас влезает на пьедестал, кладет руку на голову, и мы мажем, мажем...

И так каждый день.

Скучно, не правда ли? Да я и сам давно убедился в том, что все это очень скучно. Но как локомотиву с открытою паропроводною трубою предстоит одно из двух: катиться по рельсам до тех пор, пока не истощится пар, или, соскочив с них, превратиться из стройного железно-медного чудовища в грудку обломков, так и мне... Я на рельсах; они плотно обхватывают мои колеса, и если я сойду с них, что тогда? Я должен во что бы то ни стало докатиться до станции, несмотря на то, что она, эта станция, представляется мне какой-то черной дырой, в которой ничего не разберешь. Другие говорят, что это будет художественная деятельность. Что это нечто художественное – спора нет, но что это деятельность...

Когда я хожу по выставке и смотрю на картины, что я вижу в них? Холст, на который наложены краски, расположенные таким образом, что они образуют впечатления, подобные впечатлениям от различных предметов.

Люди ходят и удивляются: как это они, краски, так хитро расположены! И больше ничего. Написаны целые книги, целые горы книг об этом предмете; многие из них я читал. Но из Тэнов, Карьеров, Куглеров и всех, писавших об искусстве, до Прудона включительно, не явствует ничего. Они все толкуют о том, какое значение имеет искусство, а в моей голове при чтении их непременно шевелится мысль: если оно имеет его. Я не видел хорошего влияния хорошей картины на человека; зачем же мне верить, что оно есть?

Зачем верить? Верить-то мне нужно, необходимо нужно, но как поверить? Как убедиться в том, что всю свою жизнь не будешь служить исключительно глупому любопытству толпы (и хорошо еще, если только любопытству, а не чему-нибудь иному, возбуждению скверных инстинктов, например) и тщеславию какого-нибудь разбогатевшего желудка на ногах, который не спеша подойдет к моей пережитой, выстраданной, дорогой картине, писанной не кистью и красками, а нервами и кровью, пробурчит: «Мм... ничего себе», сунет руку в оттопырившийся карман, бросит мне

несколько сот рублей и унесет ее от меня. Унесет вместе с волнением, с бессонными ночами, с огорчениями и радостями, с обольщениями и разочарованиями. И снова ходишь одинокий среди толпы. Машинально рисуешь натурщика вечером, машинально пишешь его утром, возбуждая удивление профессоров и товарищей быстрыми успехами. Зачем делаешь все это, куда идешь?

Вот уже четыре месяца прошло с тех пор, как я продал свою последнюю картинку, а у меня еще нет никакой мысли для новой. Если бы выплыло что-нибудь в голове, хорошо было бы... Несколько времени полного забвения: ушел бы в картину, как в монастырь, думал бы только о ней одной. Вопросы: куда? зачем? – во время работы исчезают; в голове одна мысль, одна цель, и приведение ее в исполнение доставляет наслаждение. Картина – мир, в котором живешь и перед которым отвечаешь. Здесь исчезает житейская нравственность: ты создаешь себе новую в своем новом мире и в нем чувствуешь свою правоту, достоинство или ничтожество и ложь по своему, независимо от жизни.

Но писать всегда нельзя. Вечером, когда сумерки прервут работу, вернешься в жизнь и снова слышишь вечный вопрос: «Зачем?», не дающий уснуть, заставляющий ворочаться на постели в жару, смотреть в темноту, как будто бы где-нибудь в ней написан ответ. И засыпаешь под утро мертвым сном, чтобы, проснувшись, снова опуститься в другой мир сна, в котором живут только выходящие из тебя самого образы, складывающиеся и проясняющиеся перед тобою на полотне.

– Что вы не работаете, Рябинин? – громко спросил меня сосед.

Я так задумался, что вздрогнул, когда услышал этот вопрос. Рука с палитрой опустилась; пола сюртука попала в краски и вся вымазалась; кисти лежали на полу. Я взглянул на этюд; он был кончен, и хорошо кончен: Тарас стоял на полотне, как живой.

– Я кончил, – ответил я соседу.

Кончился и класс. Натурщик сошел с ящика и одевался; все, шумя, собирали свои принадлежности. Поднялся говор. Подошли ко мне, похвалили.

– Медаль, медаль... Лучший этюд, – говори-

ли некоторые.

Другие молчали: художники не любят хвалить друг друга.

### III. Дедов

Кажется мне, я пользуюсь между моими товарищами-учениками уважением. Конечно, не без того, чтобы на это не оказывал влияния мой, сравнительно с ними, солидный возраст: во всей академии один только Вольский старше меня. Да, искусство обладает удивительной притягательной силой! Этот Вольский – отставной офицер, господин лет сорока пяти, с совершенно седою головой; поступить в таких летах в академию, снова начать учиться – разве это не подвиг? Но он упорно работает: летом с утра до вечера пишет этюды во всякую погоду, с каким-то самоотвержением; зимою, когда светло, – постоянно пишет, а вечером рисует. В два года он сделал большие успехи, несмотря на то что судьба не наградила его особенно большим талантом.

Вот Рябинин – другое дело: чертовски талантливая натура, но зато лентяй ужасный. Я не думаю, чтобы из него вышло что-нибудь



серьезное, хотя все молодые художники – его поклонники. Особенно мне кажется странным его пристрастие к так называемым реальным сюжетам: пишет лапти, онучи и полушубки, как будто бы мы не довольно насмотрелись на них в натуре. А что главное, он почти не работает. Иногда засядет и в месяц окончит картинку, о которой все кричат, как о чуде, находя, впрочем, что техника оставляет желать лучшего (по-моему, техника у него очень и очень слаба); а потом бросит писать даже этюды, ходит мрачный и ни с кем не заговаривает, даже со мной, хотя, кажется, от меня он удаляется меньше, чем от других товарищей. Странный юноша! Удивительными мне кажутся эти люди, не могущие найти полного удовлетворения в искусстве. Не могут они понять, что ничто так не возвышает человека, как творчество.

Вчера я кончил картину, выставил, и сегодня уже спрашивали о цене. Дешевле 300 не отдам. Давали уже 250. Я такого мнения, что никогда не следует отступать от раз назначенной цены. Это доставляет уважение. А теперь тем более не уступлю, что картина на-

верно продастся; сюжет – из ходких и симпатичный: зима, закат; черные стволы на первом плане резко выделяются на красном зареве. Так пишет К., и как они идут у него! В одну эту зиму, говорят, до двадцати тысяч заработал. Недурно! Жить можно. Не понимаю, как это ухитряются бедствовать некоторые художники. Вот у К. ни один холстик даром не пропадает: все продается. Нужно только прямее относиться к делу: пока ты пишешь картину – ты художник, творец; написана она – ты торговец; и чем ловчее ты будешь вести дело, тем лучше. Публика часто тоже норовит надуть нашего брата.

#### **IV. Рябинин**

Я живу в пятнадцатой линии на Среднем проспекте и четыре раза в день прохожу по набережной, где пристают иностранные пароходы. Я люблю это место за его пестроту, оживление, толкотню и шум и за то, что оно дало мне много материала. Здесь, смотря на поденщиков, таскающих кули, вертящих ворота и лебедки, возящих тележки со всякой кладью, я научился рисовать трудящегося человека.

Я шел домой с Дедовым, пейзажистом... Добрый и невинный, как сам пейзаж, человек и страстно влюблен в свое искусство. Вот для него так уж нет никаких сомнений; пишет, что видит: увидит реку – и пишет реку, увидит болото с осокою – и пишет болото с осокою. Зачем ему эта река и это болото? – он никогда не задумывается. Он, кажется, образованный человек; по крайней мере кончил курс инженером. Службу бросил, благо явилось какое-то наследство, дающее ему возможность существовать без труда. Теперь он пишет и пишет: летом сидит с утра до вечера на поле или в лесу за этюдами, зимой без устали komponует закаты, восходы, полдни, начала и концы дождя, зимы, весны и прочее. Инженерство свое забыл и не жалеет об этом. Только когда мы проходим мимо пристани, он часто объясняет мне значение огромных чугунных и стальных масс: частей машин, котлов и разных разностей, выгруженных с парохода на берег.

– Посмотрите, какой котлице притащили, – сказал он мне вчера, ударив тростью в звонкий котел.

– Неужели у нас не умеют их делать? – спросил я.

– Делают и у нас, да мало, не хватает. Видите, какую кучу привезли. И скверная работа; придется здесь чинить: видите, шов расходится? Вот тут тоже заклепки расшатались. Знаете ли, как эта штука делается? Это, я вам скажу, адская работа. Человек садится в котел и держит заклепку изнутри клещами, что есть силы напирая на них грудью, а снаружи мастер колотит по заклепке молотом и выделывает вот такую шляпку.

Он показал мне на длинный ряд выпуклых металлических кружков, идущий по шву котла.

– Дедов, ведь это все равно, что по груди бить!

– Все равно. Я раз попробовал было забраться в котел, так после четырех заклепок еле выбрался. Совсем разбило грудь. А эти как-то ухитряются привыкать. Правда, и мрут они как мухи: год-два вынесет, а потом если и жив, то редко куда-нибудь годен. Извольте-ка целый день выносить грудью удары здорового молота, да еще в котле, в духоте, со-



гнувшись в три погибели. Зимой железо мерзнет, холод, а он сидит или лежит на железе. Вон в том котле – видите, красный, узкий – так и сидеть нельзя: лежи на боку да подставляй грудь. Трудная работа этим глухарям.

– Глухарям?

– Ну да, рабочие их так прозвали. От этого трезвона они часто глохнут. И вы думаете, много они получают за такую каторжную работу? Гроши! Потому что тут ни навыка, ни искусства не требуется, а только мясо... Сколько тяжелых впечатлений на всех этих заводах, Рябинин, если бы вы знали! Я так рад, что разделался с ними навсегда. Просто жить тяжело было сначала, смотря на эти страдания... То ли дело с природою. Она не обижает, да и ее не нужно обижать, чтобы эксплуатировать ее, как мы, художники... Поглядите-ка, поглядите, каков сероватый тон! – вдруг перебил он сам себя, показывая на уголок неба. – Пониже, вон там, под облачком... прелесть! С зеленоватым оттенком. Ведь вот напиши так, ну точно так – не поверят! А ведь недурно, а?

Я выразил свое одобрение, хотя, по правде сказать, не видел никакой прелести в грязно-зеленом клочке петербургского неба, и перебил Дедова, начавшего восхищаться еще каким-то «тонком» около другого облачка.

– Скажите мне, где можно посмотреть такого глухаря?

– Поедемте вместе на завод; я вам покажу всякую штуку. Если хотите, даже завтра! Да уж не вздумалось ли вам писать этого глухаря? Бросьте, не стоит. Неужели нет ничего повеселее? А на завод, если хотите, хоть завтра.

Сегодня мы поехали на завод и осмотрели все. Видели и глухаря. Он сидел, согнувшись в комок, в углу котла и подставлял свою грудь под удары молота. Я смотрел на него полчаса; в эти полчаса молот поднялся и опустился сотни раз. Глухарь корчился. Я его напишу.

## **V. Дедов**

Рябинин выдумал такую глупость, что я не знаю, что о нем и думать. Третьего дня я возил его на металлический завод; мы провели там целый день, осмотрели все, причем я объяснял ему всякие производства (к удивлению моему, я забыл очень немногое из своей профессии); наконец я привел его в котельное отделение. Там в это время работали над крупнейшим котлом. Рябинин влез в котел и полчаса смотрел, как работник держит заклепки клещами. Вылез оттуда бледный и расстроенный; всю дорогу назад молчал. А сегодня объявляет мне, что уже начал писать этого рабо-

чего-глухаря. Что за идея! Что за поэзия в грязи! Здесь я могу сказать, никого и ничего не стесняясь, то, чего, конечно, не сказал бы при всех: по-моему, вся эта мужичья полоса в искусстве – чистое уродство. Кому нужны эти пресловутые репинские «Бурлаки»? Написаны они прекрасно, нет спора; но ведь и только. Где здесь красота, гармония, изящное? А не для воспроизведения ли изящного в природе и существует искусство?

То ли дело у меня! Еще несколько дней работы, и будет кончено мое тихое «Майское утро». Чуть колышется вода в пруде, ивы склонили на него свои ветви; восток загорается; мелкие перистые облачка окрасились в розовый цвет. Женская фигурка идет с крутого берега с ведром за водой, спугивая стаю уток. Вот и все; кажется, просто, а между тем я ясно чувствую, что поэзии в картине вышло пропасть. Вот это – искусство! Оно настраивает человека на тихую, кроткую задумчивость, смягчает душу. А рябининский «Глухарь» ни на кого не действует уже потому, что всякий постарается поскорей убежать от него, чтобы только не мозолить себе глаза этими



безобразными тряпками и этой грязной рожой. Странное дело! Ведь вот в музыке не допускаются режущие ухо, неприятные созвучия; отчего ж у нас, в живописи, можно воспроизводить положительно безобразные, отталкивающие образы? Нужно поговорить об этом с Л., он напишет статейку и кстати прокатит Рябина за его картину. И стоит.

## VI. Рябинин

Уже две недели, как я перестал ходить в академию: сижу дома и пишу. Работа совершенно измучила меня, хотя идет успешно. Следовало бы сказать не *хотя*, а *тем более*, что идет успешно. Чем ближе она подвигается к концу, тем все страшнее и страшнее кажется мне то, что я написал. И кажется мне еще, что это – моя последняя картина.

Вот он сидит передо мной в темном углу котла, скорчившийся в три погибели, одетый в лохмотья, задыхающийся от усталости человек. Его совсем не было бы видно, если бы не свет, проходящий сквозь круглые дыры, просверленные для заклепок. Кружки этого света пестрят его одежду и лицо, светятся золотыми пятнами на его лохмотьях, на включен-

ной и закопченной бороде и волосах, на багрово-красном лице, по которому струится пот, смешанный с грязью, на жилистых надорванных руках и на измученной широкой и впалой груди. Постоянно повторяющийся страшный удар обрушивается на котел и заставляет несчастного глухаря напрягать все свои силы, чтобы удержаться в своей невероятной позе. Насколько можно было выразить это напряженное усилие, я выразил.

Иногда я кладу палитру и кисти и усаживаюсь подальше от картины, прямо против нее. Я доволен ею; ничто мне так не удавалось, как эта ужасная вещь. Беда только в том, что это довольство не ласкает меня, а мучит. Это – не написанная картина, это – созревшая болезнь. Чем она разрешится, я не знаю, но чувствую, что после этой картины мне нечего уже будет писать. Птицеловы, рыболовы, охотники со всякими экспрессиями и типичнейшими физиономиями, вся эта «богатая область жанра» – на что мне теперь она? Я ничем уже не подействую так, как этим глухарем, если только подействую...

Сделал опыт: позвал Дедова и показал ему

картину. Он сказал только: «ну, батенька», и развел руками. Уселся, смотрел полчаса, потом молча простился и ушел. Кажется, подействовало... Но ведь он все-таки – художник.

*Сделал опыт: позвал Дедова и показал ему картину. Он сказал только:*

*«ну, батенька», и развел руками.*

И я сижу перед своей картиной, и на меня она действует. Смотришь и не можешь оторваться, чувствуешь за эту измученную фигуру. Иногда мне даже слышатся удары молота... Я от него сойду с ума. Нужно его завесить.

Полотно покрыло мольберт с картиной, а я все сижу перед ним, думая все о том же неопределенном и страшном, что так мучит меня. Солнце заходит и бросает косую желтую полосу света сквозь пыльные стекла на мольберт, завешенный холстом.

Точно человеческая фигура. Точно Дух Земли в «Фаусте», как его изображают немецкие актеры.

*... Wer ruft mich? [3]*

Кто позвал тебя? Я, я сам создал тебя здесь. Я вызвал тебя, только не из какой-нибудь



«сферы», а из душного, темного котла, чтобы ты ужаснул своим видом эту чистую, прилизанную, ненавистную толпу. Приди, силою моей власти прикованный к полотну, смотри с него на эти фраки и трены, крикни им: я – язва растущая! Ударь их в сердце, лиши их сна, стань перед их глазами призраком! Убей их спокойствие, как ты убил мое...

Да, как бы не так!.. Картина кончена, вставлена в золотую раму, два сторожа потащат ее на головах в академию на выставку. И вот она стоит среди «полдней» и «закатов», рядом с «девочкой с кошкой», недалеко от какого-нибудь трехсаженного «Иоанна Грозного, вонзающего посох в ногу Васьки Шибанова». Нельзя сказать, чтобы на нее не смотрели; будут смотреть и даже хвалить. Художники начнут разбирать рисунок. Рецензенты, прислушиваясь к ним, будут черкать карандашиками в своих записных книжках. Один г. В. С. выше заимствований; он смотрит, одобряет, превозносит, пожимает мне руку. Художественный критик Л. с яростью набросится на бедного глухаря, будет кричать: «Но где же тут изящное, скажите, где тут изящ-

ное?» И разругает меня на все корки. Публика... Публика проходит мимо бесстрастно или с неприятной гримасой; дамы – те только скажут: «Ah, comme il est laid, ce[4] глухарь», и проплывут к следующей картине, к «девочке с кошкой», смотря на которую, скажут: «Очень, очень мило» или что-нибудь подобное. Солидные господа с бычьими глазами поглазеют, потупят взоры в каталог, испустят не то мычание, не то сопенье и благополучно проследуют далее. И разве только какой-нибудь юноша или молодая девушка остановятся со вниманием и прочтут в измученных глазах, страдальчески смотрящих с полотна, вопль, вложенный мною в них...

Ну, а дальше? Картина выставлена, куплена и увезена. Что ж будет со мною? То, что я пережил в последние дни, погибнет ли бесследно? Кончится ли все только одним волнением, после которого наступит отдых с исканием невинных сюжетов?... Невинные сюжеты! Вдруг вспомнилось мне, как один знакомый хранитель галереи, составляя каталог, кричал писцу:

– Мартынов, пиши! № 112. Первая любов-

ная сцена: девушка срывает розу.

– Мартынов, еще пиши! № 113. Вторая любовная сцена: девушка нюхает розу.

Буду ли я по-прежнему нюхать розу? Или сойду с рельсов?

## VII. Дедов

Рябинин почти кончил своего «Глухаря» и сегодня позвал меня посмотреть. Я шел к нему с предвзятым мнением и, нужно сказать, должен был изменить его. Очень сильное впечатление. Рисунок прекрасный. Лепка рельефная. Лучше всего это фантастическое и в то же время высоко истинное освещение. Картина, без сомнения, была бы с достоинствами, если бы только не этот странный и дикий сюжет. Л. совершенно согласен со мною, и на будущей неделе в газете появится его статья. Посмотрим, что скажет тогда Рябинин. Л-у, конечно, будет трудно разобрать его картину со стороны техники, но он сумеет коснуться ее значения как произведения искусства, которое не терпит, чтобы его низводили до служения каким-то низким и туманным идеям.

Сегодня Л. был у меня. Очень хвалил. Сде-

длал несколько замечаний относительно разных мелочей, но в общем очень хвалил. Если бы профессора взглянули на мою картину его глазами! Неужели я не получу наконец того, к чему стремится каждый ученик академии, – золотой медали? Медаль, четыре года жизни за границей, да еще на казенный счет, впереди – профессура... Нет, я не ошибся, бросив эту печальную будничную работу, грязную работу, где на каждом шагу натыкаешься на какого-нибудь рябининского глухаря.

## **VIII. Рябинин**

Картина продана и увезена в Москву. Я получил за нее деньги и, по требованию товарищей, должен был устроить им увеселение в «Вене». Не знаю, с каких пор это повелось, но почти все пирушки молодых художников происходят в угóльном кабинете этой гостиницы. Кабинет этот – большая высокая комната с люстрой, с бронзовыми канделябрами, с коврами и мебелью, почерневшими от времени и табачного дыма, с роялем, много потрудившимся на своем веку под разгулявшимися пальцами импровизированных пианистов; одно только огромное зеркало ново, по-



тому что оно переменяется дважды или трижды в год, всякий раз, как вместо художников в угóльном кабинете кутят купчики.

Собралась целая куча народа: жанристы, пейзажисты и скульпторы, два рецензента из каких-то маленьких газет, несколько посторонних лиц. Начали пить и разговаривать. Через полчаса все уже говорили разом, потому что все были навеселе. И я тоже. Помню, что меня качали и я говорил речь. Потом целовался с рецензентом и пил с ним брудершафт. Пили, говорили и целовались много и разошлись по домам в четыре часа утра. Кажется, двое расположились на ночлег в том же угóльном номере гостиницы «Вена».

Я едва добрался домой и нераздетый бросился на постель, причем испытал что-то вроде качки на корабле: казалось, что комната качается и кружится вместе с постелью и со мною. Это продолжалось минуты две; потом я уснул.

Уснул, спал и проснулся очень поздно. Голова болит; в тело точно свинцу налили. Я долго не могу раскрыть глаз, а когда раскрываю их, то вижу мольберт – пустой, без карти-

ны. Он напоминает мне о пережитых днях, и вот все снова, сначала... Ах, Боже мой, да надо же это кончить!

Голова болит больше и больше, туман наплывает на меня. Я засыпаю, просыпаюсь и снова засыпаю. И я не знаю, мертвая ли тишина вокруг меня или оглушительный шум, хаос звуков, необыкновенный, страшный для уха. Может быть, это и тишина, но в ней что-то звонит и стучит, вертится и летает. Точно огромный тысячесильный насос, выкачивающий воду из бездонной пропасти, качается и шумит, и слышатся глухие раскаты падающей воды и удары машины. И над всем этим одна нота, бесконечная, тянущаяся, томящая. И мне хочется открыть глаза, встать, подойти к окну, раскрыть его, услышать живые звуки, человеческий голос, стук дрожек, собачий лай и избавиться от этого вечного гама. Но сил нет. Я вчера был пьян. И я должен лежать и слушать, слушать без конца.

И я просыпаюсь и снова засыпаю. Снова стучит и гремит и где-то резче, ближе и определеннее. Удары приближаются и бьют вместе с моим пульсом. Во мне они, в моей голо-

ве, или вне меня? Звонко, резко, четко... раз-два, раз-два... Бьет по металлу и еще по чему-то. Я слышу ясно удары по чугуну; чугун гудит и дрожит. Молот сначала тупо звякает, как будто падает в вязкую массу, а потом бьет звонче и звонче, и наконец, как колокол, гудит огромный котел. Потом остановка, потом снова тихо; громче и громче, и опять нестерпимый, оглушительный звон. Да, это так: сначала бьют по вязкому, раскаленному железу, а потом оно застывает. И котел гудит, когда головка заклепки уже затвердела. Понял. Но те, другие звуки... Что это такое? Я стараюсь понять, что это такое, но дымка застилает мне мозг. Кажется, что так легко припомнить, так и вертится в голове, мучительно близко вертится, а что именно – не знаю. Никак не схватить... Пусть стучит, оставим это. Я знаю, но только не помню.

И шум увеличивается и уменьшается, то разрастаясь до мучительно чудовищных размеров, то будто бы совсем исчезая. И кажется мне, что не он исчезает, а я сам в это время исчезаю куда-то, не слышу ничего, не могу шевельнуть пальцем, поднять веки, крик-

нуть. Оцепенение держит меня, и ужас охватывает меня, и я просыпаюсь весь в жару. Просыпаюсь не совсем, а в какой-то другой сон. Чудится мне, что я опять на заводе, только не на том, где был с Дедовым. Этот гораздо громаднее и мрачнее. Со всех сторон гигантские печи чудной, невиданной формы. Снопам вылетает из них пламя и коптит крышу и стены здания, уже давно черные, как уголь. Машины качаются и визжат, и я едва прохожу между вертящимися колесами и бегущими и дрожащими ремнями; нигде ни души. Где-то стук и грохот: там-то идет работа. Там неистовый крик и неистовые удары; мне страшно идти туда, но меня подхватывает и несет, и удары все громче, и крики страшнее. И вот все сливается в рев, и я вижу... Вижу: странное, безобразное существо корчится на земле от ударов, сыплющихся на него со всех сторон. Целая толпа бьет, кто чем попало. Тут все мои знакомые с остервенелыми лицами колотят молотами, ломami, палками, кулаками это существо, которому я не прибрал названия. Я знаю, что это – все он же... Я кидаюсь вперед, хочу крикнуть: «Перестаньте! за

что?» – и вдруг вижу бледное, искаженное, необыкновенно страшное лицо, страшное потому, что это – мое собственное лицо. Я вижу, как я сам, другой я сам, замахивается молотом, чтобы нанести неистовый удар.

Тогда молот опустился на мой череп. Все исчезло; некоторое время я сознавал еще мрак, тишину, пустоту и неподвижность, а скоро и сам исчез куда-то...

Рябинин лежал в совершенном беспмятстве до самого вечера. Наконец хозяйка-чухонка, вспомнив, что жилец сегодня не выходил из комнаты, догадалась войти к нему и, увидев бедного юношу, разметавшегося в сильнейшем жару и бормотавшего всякую чепуху, испугалась, испустила какое-то восклицание на своем непонятном диалекте и послала девочку за доктором. Доктор приехал, посмотрел, пощупал, послушал, помычал, присел к столу и, прописав рецепт, уехал, а Рябинин продолжал бредить и метаться.

## **IX дедов**

Бедняга Рябинин заболел после вчерашнего кутежа. Я заходил к нему и застал его лежа-

щим без памяти. Хозяйка ухаживает за ним. Я должен был дать ей денег, потому что в столе у Рябинина не оказалось ни копейки; не знаю, стащила ли все проклятая баба или, может быть, все осталось в «Вене». Правда, кутнули вчера порядочно; было очень весело; мы с Рябининым пили брудершафт. Я пил также с Л. Прекрасная душа этот Л. и как понимает искусство! В своей последней статье он так тонко понял, что я хотел сказать своей картиной, как никто, за что я ему глубоко благодарен. Нужно бы написать маленькую вещицу, так, что-нибудь à la Клевер, и подарить ему. Да, кстати, его зовут Александр; не завтра ли его именины?

Однако бедному Рябину может прийтись очень плохо; его большая конкурсная картина еще далеко не кончена, а срок уже не за горами. Если он проболит с месяц, то не получит медали. Тогда – прощай заграница! Я очень рад одному, что, как пейзажист, не соперничаю с ним, а его товарищи, должно быть, таки потирают руки. И то сказать: одним местом больше.

А Рябинина нельзя бросить на произвол

судьбы: нужно свезти его в больницу.

## **Х. Рябинин**

Сегодня, очнувшись после многих дней беспомощности, я долго соображал, где я. Сначала даже не мог понять, что этот длинный белый сверток, лежащий перед моими глазами, — мое собственное тело, обернутое одеялом. С большим трудом повернув голову направо и налево, от чего у меня зашумело в ушах, я увидел слабо освещенную длинную палату с двумя рядами постелей, на которых лежали закутанные фигуры больных, какого-то рыцаря в медных доспехах, стоявшего между больших окон с опущенными белыми шторами и оказавшегося просто огромным медным умывальником, образ Спасителя в углу с слабо теплившейся лампадкой, две колоссальные кафельные печи. Услышал я тихое, прерывистое дыхание соседа, kloкoтaвшeе вздохи больного, лежавшего где-то подале, еще чье-то мирное сопенье и богатырский храп сторожа, вероятно приставленного дежурить у постели опасного больного, который, может быть, жив, а может быть, уже и умер и лежит здесь так же, как и мы, жи-

вые.

Мы, живые... «Жив», – подумал я и даже прошептал это слово. И вдруг то необыкновенно хорошее, радостное и мирное, чего я не испытывал с самого детства, нахлынуло на меня вместе с сознанием, что я далек от смерти, что впереди еще целая жизнь, которую я, наверно, сумею повернуть по-своему (о! наверно сумею), и я, хотя с трудом, повернулся на бок, поджал ноги, подложил ладонь под голову и заснул, точно так, как в детстве, когда, бывало, проснешься ночью возле спящей матери, когда в окно стучит ветер, и в трубе жалобно воет буря, и бревна дома стреляют, как из пистолета, от лютого мороза, и начнешь тихонько плакать, и боясь и желая разбудить мать, и она проснется, сквозь сон поцелует и перекрестит, и, успокоенный, свертываешься калачиком и засыпаешь с отрадой в маленькой душе.

Боже мой, как я ослабел! Сегодня попробовал встать и пройти от своей кровати к кровати моего соседа напротив, какого-то студента, выздоравливающего от горячки, и едва не



свалился на полдороге. Но голова поправляется скорее тела. Когда я очнулся, я почти ничего не помнил, и приходилось с трудом вспоминать даже имена близких знакомых. Теперь все вернулось, но не как прошлая действительность, а как сон. Теперь он меня не мучает, нет. Старое прошло безвозвратно.

Дедов сегодня притащил мне целый ворох газет, в которых расхваливаются мой «Глухарь» и его «Утро». Один только Л. не похвалил меня. Впрочем, теперь это все равно. Это так далеко, далеко от меня. За Дедова я очень рад; он получил большую золотую медаль и скоро уезжает за границу. Доволен и счастлив невыразимо; лицо сияет, как масленый блин. Он спросил меня: намерен ли я конкурировать в будущем году, после того как теперь мне помешала болезнь? Нужно было видеть, как он вытаращил глаза, когда я сказал ему «нет».

– Seriously?

– Совершенно серьезно, – ответил я.

– Что же вы будете делать?

– А вот посмотрю.

Он ушел от меня в совершенном недоуме-

нии.

## XI. Дедов

Эти две недели я прожил в тумане, волнении, нетерпении и успокоился только сейчас, сидя в вагоне Варшавской железной дороги. Я сам себе не верю: я – пенсионер академии, художник, едущий на четыре года за границу совершенствоваться в искусстве. *Vivat Academia!*

Но Рябинин, Рябинин! Сегодня я виделся с ним на улице, усаживаясь в карету, чтобы ехать на вокзал. «Поздравляю, говорит, и меня тоже поздравьте».

– С чем это?

– Сейчас только выдержал экзамен в учительскую семинарию.

В учительскую семинарию!! Художник, талант! Да он пропадет, погибнет в деревне. Ну, не сумасшедший ли это человек?

На этот раз Дедов был прав: Рябинин действительно не преуспел. Но об этом – когда-нибудь после.

1879

# Attalea princeps

В одном большом городе был ботанический сад, а в этом саду – огромная оранжерея из железа и стекла. Она была очень красива: стройные витые колонны поддерживали все здание; на них опирались легкие узорчатые арки, переплетенные между собою целой паутиной железных рам, в которые были вставлены стекла. Особенно хороша была оранжерея, когда солнце заходило и освещало ее красным светом. Тогда она вся горела, красные отблески играли и переливались, точно в огромном, мелко отшлифованном драгоценном камне.

Сквозь толстые прозрачные стекла виднелись заключенные растения. Несмотря на величину оранжереи, им было в ней тесно. Корни переплелись между собою и отнимали друг у друга влагу и пищу. Ветви деревьев мешались с огромными листьями пальм, гнули и ломали их и сами, налегая на железные рамы, гнулись и ломались. Садовники постоянно обрезали ветви, подвязывали проволоками листья, чтобы они не могли расти, куда хо-

тят, но это плохо помогало. Для растений нужен был широкий простор, родной край и свобода. Они были уроженцы жарких стран, нежные, роскошные создания; они помнили свою родину и тосковали о ней. Как ни прозрачна стеклянная крыша, но она не ясное небо. Иногда, зимой, стекла обмерзали; тогда в оранжерее становилось совсем темно. Гудел ветер, бил в рамы и заставлял их дрожать. Крыша покрывалась наметенным снегом. Растения стояли и слушали вой ветра и вспоминали иной ветер, теплый, влажный, дававший им жизнь и здоровье. И им хотелось вновь почувствовать его веянье, хотелось, чтобы он покачал их ветвями, поиграл их листьями. Но в оранжерее воздух был неподвижен; разве только иногда зимняя буря выбивала стекло, и резкая, холодная струя, полная инея, влетала под свод. Куда попадала эта струя, там листья бледнели, съеживались и увядали.

Но стекла вставляли очень скоро. Ботаническим садом управлял отличный ученый директор и не допускал никакого беспорядка, несмотря на то что бóльшую часть своего вре-

мени проводил в занятиях с микроскопом в особой стеклянной будочке, устроенной в главной оранжерее.

Была между растениями одна пальма, выше всех и красивее всех. Директор, сидевший в будочке, называл ее по-латыни *Attalea*. Но это имя не было ее родным именем: его придумали ботаники. Родного имени ботаники не знали, и оно не было написано сажей на белой дощечке, прибитой к стволу пальмы. Раз пришел в ботанический сад приезжий из той жаркой страны, где выросла пальма; когда он увидел ее, то улыбнулся, потому что она напомнила ему родину.

– А! – сказал он, – я знаю это дерево. – И он назвал его родным именем.

– Извините, – крикнул ему из своей будочки директор, в это время внимательно разрезывавший бритвою какой-то стебелек, – вы ошибаетесь. Такого дерева, какое вы изволили сказать, не существует. Это – *Attalea princeps*, родом из Бразилии.

– О да, – сказал бразильянец, – я вполне верю вам, что ботаники называют ее *Attalea*, но у нее есть и родное, настоящее имя.

– Настоящее имя есть то, которое дается наукой, – сухо сказал ботаник и запер дверь будочки, чтобы ему не мешали люди, не понимавшие даже того, что уж если что-нибудь сказал человек науки, так нужно молчать и слушаться.

А бразильянец долго стоял и смотрел на дерево, и ему становилось все грустнее и грустнее. Вспомнил он свою родину, ее солнце и небо, ее роскошные леса с чудными зверями и птицами, ее пустыни, ее чудные южные ночи. И вспомнил еще, что нигде он не бывал счастлив, кроме родного края, а он объехал весь свет. Он коснулся рукою пальмы, как будто бы прощаясь с нею, и ушел из сада, а на другой день уже ехал на пароходе домой.

А пальма осталась. Ей теперь стало еще тяжелее, хотя и до этого случая было очень тяжело. Она была совсем одна. На пять сажен возвышалась она над верхушками всех других растений, и эти другие растения не любили ее, завидовали ей и считали гордою. Этот рост доставлял ей только одно горе; кроме того, что все были вместе, а она была одна, она лучше всех помнила свое родное небо и боль-

ше всех тосковала о нем, потому что ближе всех была к тому, что заменяло им его: к гадкой стеклянной крыше. Сквозь нее ей виднелось иногда что-то голубое; то было небо, хоть и чужое и бледное, но все-таки настоящее голубое небо. И когда растения болтали между собою, Attalea всегда молчала, тосковала и думала только о том, как хорошо было бы посто- ять даже и под этим бледненьким небом.

– Скажите, пожалуйста, скоро ли нас будут поливать? – спросила саговая пальма, очень любившая сырость. – Я, право, кажется, засох- ну сегодня.

– Меня удивляют ваши слова, соседushка, – сказал пузатый кактус. – Неужели вам мало того огромного количества воды, которое на вас выливают каждый день? Посмотрите на меня: мне дают очень мало влаги, а я все-таки свеж и сочен.

– Мы не привыкли быть чересчур береж- ливыми, – отвечала саговая пальма. – Мы не можем расти на такой сухой и дрянной поч- ве, как какие-нибудь кактусы. Мы не привык- ли жить как-нибудь. И кроме всего этого, ска- жу вам еще, что вас не просят делать замеча-

ния.

Сказав это, саговая пальма обиделась и замолчала.

– Что касается меня, – вмешалась корица, – то я почти довольна своим положением. Правда, здесь скучновато, но уж я по крайней мере уверена, что меня никто не обдерет.

– Но ведь не всех же нас обдирали, – сказал древовидный папоротник. – Конечно, многим может показаться раем и эта тюрьма после жалкого существования, которое они вели на воле.

Тут корица, забыв, что ее обдирали, оскорбилась и начала спорить. Некоторые растения вступились за нее, некоторые за папоротник, и началась горячая перебранка.

Если бы они могли двигаться, то непременно бы подрались.

– Зачем вы ссоритесь? – сказала Attalea. – Разве вы поможете себе этим? Вы только увеличиваете свое несчастье злобою и раздражением. Лучше оставьте ваши споры и подумайте о деле. Послушайте меня: растите выше и шире, раскидывайте ветви, напирайте на рамы и стекла, наша оранжерея рассыплется в



куски, и мы выйдем на свободу. Если одна какая-нибудь ветка упрется в стекло, то, конечно, ее отрежут, но что сделают с сотней сильных и смелых стволов? Нужно только работать дружнее, и победа за нами.

Сначала никто не возражал пальме: все молчали и не знали, что сказать. Наконец саговая пальма решилась.

– Все это глупости, – заявила она.

– Глупости! Глупости! – заговорили деревья, и все разом начали доказывать Attale'e, что она предлагает ужасный вздор. – Несбыточная мечта! – кричали они. – Вздор, нелепость! Рамы прочны, и мы никогда не сломаем их, да если бы и сломали, так что ж такое? Придут люди с ножами и с топорами, отрубят ветви, заделают рамы, и все пойдет по-старому. Только и будет, что отрежут от нас целые куски...

– Ну, как хотите! – отвечала Attalea. – Теперь я знаю, что мне делать. Я оставлю вас в покое: живите как хотите, ворчите друг на друга, спорьте из-за подачек воды и оставайтесь вечно под стеклянным колпаком. Я и одна найду себе дорогу. Я хочу видеть небо и

солнце не сквозь эти решетки и стекла, – и я увижу!

И пальма гордо смотрела зеленой вершиной на лес товарищей, раскинутый под нею. Никто из них не смел ничего сказать ей, только саговая пальма тихо сказала соседке-цикаде:

– Ну, посмотрим, посмотрим, как тебе отрезжут твою большую башку, чтобы ты не очень зазнавалась, гордячка!

Остальные хоть и молчали, но все-таки сердились на Attale'ю за ее гордые слова. Только одна маленькая травка не сердилась на пальму и не обиделась ее речами. Это была самая жалкая и презренная травка из всех растений оранжереи: рыхлая, бледненькая, ползучая, с вялыми толстенькими листьями. В ней не было ничего замечательного, и она употреблялась в оранжерее только для того, чтобы закрывать голую землю. Она обвила собою подножие большой пальмы, слушала ее, и ей казалось, что Attalea права. Она не знала южной природы, но тоже любила воздух и свободу. Оранжерея и для нее была тюрьмой. «Если я, ничтожная, вялая травка,

так страдаю без своего серенького неба, без бледного солнца и холодного дождя, то что должно испытывать в неволе это прекрасное и могучее дерево!» – так думала она и нежно обвивалась около пальмы и ласкалась к ней. «Зачем я не большое дерево? Я послушалась бы совета. Мы росли бы вместе и вместе вышли бы на свободу. Тогда и остальные увидели бы, что Attalea права».

Но она была не большое дерево, а только маленькая и вялая травка. Она могла только еще нежнее обвиться около ствола Attale'и и прошептать ей свою любовь и желание счастья в попытке.

– Конечно, у нас вовсе не так тепло, небо не так чисто, дожди не так роскошны, как в вашей стране, но все-таки и у нас есть и небо, и солнце, и ветер. У нас нет таких пышных растений, как вы и ваши товарищи, с такими огромными листьями и прекрасными цветами, но и у нас растут очень хорошие деревья: сосны, ели и березы. Я – маленькая травка и никогда не доберусь до свободы, но ведь вы так велики и сильны! Ваш ствол тверд, и вам уже недолго осталось расти до стеклянной

крыши. Вы пробьете ее и выйдете на Божий свет. Тогда вы расскажете мне, все ли там так же прекрасно, как было. Я буду довольна и этим.

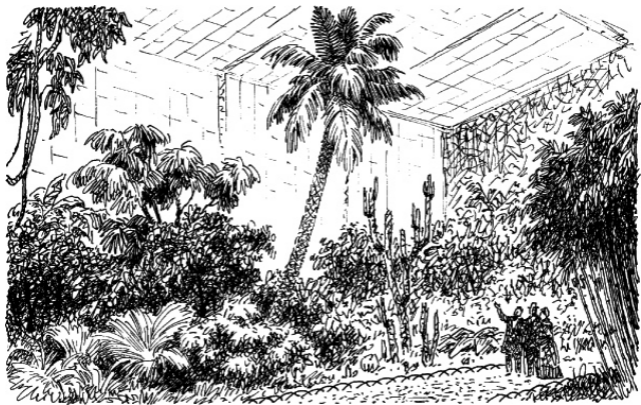
– Отчего же, маленькая травка, ты не хочешь выйти вместе со мною? Мой ствол тверд и крепок; опирайся на него, ползи по мне. Мне ничего не значит снести тебя.

– Нет уж, куда мне! Посмотрите, какая я вялая и слабая: я не могу приподнять даже одной своей веточки. Нет, я вам не товарищ. Растите, будьте счастливы. Только прошу вас, когда выйдете на свободу, вспоминайте иногда своего маленького друга!

Тогда пальма принялась расти. И прежде посетители оранжереи удивлялись ее огромному росту, а она становилась с каждым месяцем выше и выше. Директор ботанического сада приписывал такой быстрый рост хорошему уходу и гордился знанием, с каким он устроил оранжерею и вел свое дело.

– Да-с, взгляните-ка на *Attalea princeps*, – говорил он. – Такие рослые экземпляры редко встречаются и в Бразилии. Мы приложили все наше знание, чтобы растения развива-

лись в теплице совершенно так же свободно, как и на воле, и, мне кажется, достигли некоторого успеха.



При этом он с довольным видом похлопывал твердое дерево своею тростью, и удары звонко раздавались по оранжерее. Листья пальмы вздрагивали от этих ударов. О, если бы она могла стонать, какой вопль гнева услышал бы директор!

«Он воображает, что я расту для его удовольствия, — думала Attalea. — Пусть воображает!»

И она росла, тратя все соки только на то, чтобы вытянуться, и лишая их свои корни и листья. Иногда ей казалось, что расстояние до свода не уменьшается. Тогда она напрягала все силы. Рамы становились все ближе и ближе, и наконец молодой лист коснулся холодного стекла и железа.

– Смотрите, смотрите, – заговорили растения, – куда она забралась! Неужели решится?

– Как она страшно выросла, – сказал древоподобный папоротник.

– Что ж, что выросла! Эка невидаль! Вот если б она сумела растолстеть так, как я, – сказала толстая цикада, со стволом, похожим на бочку. – И чего тянется? Все равно ничего не сделает. Решетки прочны, и стекла толсты.

Прошел еще месяц. *Attalea* подымалась. Наконец она плотно уперлась в рамы. Растить дальше было некуда. Тогда ствол начал сгибаться. Его листовенная вершина скомкалась, холодные прутья рамы впились в нежные молодые листья, перерезали и изуродовали их, но дерево было упрямо, не жалело листьев, несмотря ни на что давило на решетки, и решетки уже подавались, хотя были сделаны из

крепкого железа.

Маленькая травка следила за борьбой и замирала от волнения.

– Скажите мне, неужели вам не больно? Если рамы уж так прочны, не лучше ли отступить? – спросила она пальму.

– Больно? Что значит больно, когда я хочу выйти на свободу. Не ты ли сама ободряла меня? – ответила пальма.

– Да, я ободряла, но я не знала, что это так трудно. Мне жаль вас. Вы так страдаете.

– Молчи, слабое растенье! Не жалея меня! Я умру или освобожусь!

И в эту минуту раздался звонкий удар. Лопнула толстая железная полоса. Посыпались и зазвенели осколки стекла. Один из них ударил в шляпу директора, выходявшего из оранжереи.

– Что это такое? – вскрикнул он, вздрогнув, увидя летящие по воздуху куски стекла. Он отбежал от оранжереи и посмотрел на крышу. Над стеклянным сводом гордо высилась выпрямившаяся зеленая корона пальмы.

*Над стеклянным сводом гордо высилась выпрямившаяся зеленая корона*

*пальмы.*





«Только-то? – думала она. – И это все, из-за чего я томила и страдала так долго? И этого-то достигнуть было для меня высочайшей целью?»

Была глубокая осень, когда Attalea выпрямила свою вершину в пробитое отверстие. Моросил мелкий дождик пополам со снегом; ветер низко гнал серые клочковатые тучи. Ей казалось, что они охватывают ее. Деревья уже оголились и представлялись какими-то безобразными мертвецами. Только на соснах да на елях стояли темно-зеленые хвои. Угрюмо смотрели деревья на пальму. «Замерзнешь! – как будто говорили они ей. – Ты не знаешь, что такое мороз. Ты не умеешь терпеть. Зачем ты вышла из своей теплицы?»

И Attalea поняла, что для нее все было кончено. Она застывала. Вернуться снова под крышу? Но она уже не могла вернуться. Она должна была стоять на холодном ветре, чувствовать его порывы и острое прикосновение снежинок, смотреть на грязное небо, на нищую природу, на грязный задний двор ботанического сада, на скучный огромный город,

видневшийся в тумане, и ждать, пока люди там внизу, в теплице, не решат, что делать с нею.

Директор приказал спилить дерево. «Можно бы надстроить над нею особенный колпак, – сказал он, – но надолго ли это? Она опять вырастет и все сломает. И притом это будет стоить чересчур дорого. Спилить ее».

Пальму привязали канатами, чтобы, падая, она не разбила стен оранжереи, и низко, у самого корня, перепилили ее. Маленькая травка, обвивавшая ствол дерева, не хотела расстаться с своим другом и тоже попала под пилу. Когда пальму вытащили из оранжереи, на отрезе оставшегося пня валялись разможенные пилюю, истерзанные стебельки и листья.

– Вырвать эту дрянь и выбросить, – сказал директор. – Она уже пожелтела, да и пила очень испортила ее. Посадить здесь что-нибудь новое.

Один из садовников ловким ударом заступа вырвал целую охапку травы. Он бросил ее в корзину, вынес и выбросил на задний двор, прямо на мертвую пальму, лежавшую в грязи

и уже полузасыпанную снегом.

*1879*

# Денщик и офицер

— Разденься! – сказал доктор Никите, неподвижно стоявшему устремив глаза в неизвестную далекую точку.

Никита вздрогнул и торопливо начал расстегиваться.

– Живей, братец! – нетерпеливо крикнул доктор. – Видишь, сколько вас здесь.

Он показал на толпу, наполнявшую присутствие.

– Поворачивайся... очумел... – заговорил в помощь ему унтер-офицер, приставленный к мере.

Никита заторопился, сбросил рубашку и штаны и остался совершенно нагим. Нет ничего прекраснее человеческого тела, – множество раз было говорено кем-то, когда-то и где-то; но если бы тот, кто в первый раз произнес это изречение, жил в семидесятых годах прошлого столетия и увидел голого Никиту, он, наверно, взял бы свои слова назад.

Перед присутствием по воинской повинности стоял низенький человек, с несоразмерно большим животом, унаследованным от десят-

ков поколений предков, не евших чистого хлеба, с длинными, вялыми руками, снабженными огромными черными и заскорузлыми кистями. Его длинное неуклюжее туловище поддерживали очень короткие кривые ноги, а всю фигуру венчала голова... Что это была за голова! Личные кости были развиты совершенно в ущерб черепу; лоб узок и низок, глаза, без бровей и ресниц, едва прорезывались; на огромном плоском лице сиротливо сидел крошечный круглый нос, хотя и задранный вверх, но не только не придававший лицу выражения высокомерия, а, напротив, делавший его еще более жалким; рот, в противоположность носу, был огромен и представлял собою бесформенную щель, вокруг которой, несмотря на двадцатилетний возраст Никиты, не сидело ни одного волоска. Никита стоял, понурив голову, сдвинув плечи, повесив плетьюми руки и поставив ступни носками немного внутрь.

– Обезьяна, – сказал полненький живой полковник, воинский начальник, наклонясь к молодому и тощему, с красивой бородой, члену земской управы. – Совершенная обезьяна

на.

– Превосходное подтверждение теории Дарвина, – процедил член, на что полковник одобрительно помычал и обратился к доктору.

– Да что, конечно годен! Парень здоровый, – сказал тот.

– Но только в гвардию не попадет. Ха-ха-ха! – добродушно и звонко закатился полковник; потом, обратясь к Никите, прибавил спокойным тоном: – Через неделю явись. Следующий, Парфен Семенов, раздевайся!

Никита начал мешкотно одеваться, руки и ноги не слушались его и не попадали туда, куда им следовало. Он шептал что-то про себя, но что именно – должно быть, и сам не знал; он понял только, что его признали годным к службе и что через две недели его погонят из дому на несколько лет. Только одно это и было у него в голове, только одна эта мысль и пробивалась сквозь туман и оцепенение, в котором он находился. Наконец он справился с рукавами, опоясался и пошел из комнаты, где происходило освидетельствование. Старик лет шестидесяти пяти, маленький, со-

всем согнутый, встретил его в сенях.

– Забрили? – спросил он.

Никита не отвечал, и старик понял, что забрили, и не стал расспрашивать. Они вышли из управы на улицу. Был ясный, морозный день. Толпа мужиков и баб, приехавших с молодежью, стояла в ожидании. Многие топтались и хлопали руками; снег хрустел под лаптями и сапогами. Пар валил от закутанных голов и маленьких лохматых лошадеенок; дым поднимался из труб городка прямыми высокими столбами.

– Взяли, Иван, твоего-то? – спросил старика дюжий мужик в новой дубленке, большой бараньей шапке и хороших сапогах.

– Взяли, Илья Савельич, взяли. Захотел Господь обидеть...

– Что ж ты теперь делать будешь?

– Что ж тут делать... Воля Господня... Один в семье был помощник, и того нет...

Иван развел руками.

– Тебе бы его раньше усыновить, – внушительно сказал Илья Савельич. – Вот парень и был бы цел.

– Кто ж его знал! Ничего нам этого не из-

вестно. Опять же он у меня заместо сына, один работник в семье... Думал так, что господа уважат. «Ничего, говорит, невозможно, потому – закон такой». Как же, ваше благородие, говорю, закон, когда у него жена тяжелая? Опять же мне, говорю, ваше благородие, одному невозможно... «Ничего, говорит, мы этого, старичок, не знаем, а по закону, как есть он сирота, одиночка, – должен на службу. Кто виноват, говорит, что у него жена и сын, вы бы еще пятнадцатилетних венчали». Я ему еще сказать хотел, так он и слушать не стал. Осерчал. «Отстань, говорит, тут и без тебя дела много...» Что ты станешь делать... Божья воля!

– Парень-то он у тебя смирный.

– Смирный да работающий, и Боже мой! Слова супротивного от него не слыхал! Я, Илья Савельич, так скажу: лучше родного он мне был. То-то и горе наше... Бог послал, Бог и взял... Прощайте, Илья Савельич, вашего-то, поди, не скоро осмострят?

– Как начальство!.. Но только моего годным признать нельзя – хром.

– Ваше счастье, Илья Савельич.



– Побойся ты Бога, что ты городишь! Эко счастье, что сын хромой уродился.

– Что ж, Илья Савельич, оно к лучшему выходит, все ж дома парень останется. Прощайте, будьте здоровы.

– Прощай, брат... Что ж ты должок-то, забываешь, что ль?

– Никак невозможно, Илья Савельич, то есть – вот как, никак нельзя! Уж вы малость пообождите. Горе-то у нас такое!

– Ну, ладно, ладно, поговорим еще. Прощай, Иван Петрович.

– Прощайте, Илья Савельич, будьте здоровы.

Никита в это время отвязал от тумбы лошадь;

они с приемным отцом уселись в сани и поехали. До их деревни было верст пятнадцать. Лошаденка бойко бежала, взбивая копытами комья снега, которые на лету рассыпались, обдавая Никиту. А Никита улегся около отца, завернувшись в армяк, и молчал. Старик два раза заговорил с ним, но он не ответил. Он точно застыл и смотрел неподвижно на снег, как будто ища в нем точку, забы-

тую им в комнатах присутствия.

Приехали, вошли в избу, сказали. Семья, состоявшая, кроме мужчин, из трех баб и троих детей, оставшихся от умершего в прошлом году сына Ивана Петровича, начала выть. Парасковья, Никитина жена, сомлела. Бабы выли целую неделю.

Как прошла эта неделя для Никиты – известно одному Богу, потому что он все время молчал, храня на своем лице одно и то же застывшее выражение покорного отчаяния.

Наконец все было кончено – Иван свез новобранца в город и сдал его на сборный пункт. Через два дня Никита с партией новобранцев шагал по сугробам большой дороги в губернский город, где стоял полк, в который он был назначен. Одет он был в новый коротенький полушубок, в шаровары из толстого черного сукна, новые валенки, шапку и рукавицы. В его котомке, кроме двух перемен белья и пирогов, лежала еще тщательно завернутая в платок рублевая бумажка. Всем этим наделил своего приемыша Иван Петрович, умоливший Илью Савельича дать ему еще займы, чтобы обрядить Никиту на службу.

Никита оказался самым плохим молодым солдатом. Дядька, которому его отдали для первоначального обучения, был в отчаянии. Несмотря на всевозможные вразумления, делаемые им Никите, в числе которых некоторую роль играли подзатыльники и затрецины, его ученик никак не мог вполне постигнуть даже нехитрую премудрость сдваиванья рядов. Фигура Никиты, наряженного в солдатское платье, была самая жалкая; во фронте то у него выпячивался живот, то, подбирая его, он выдавался вперед всей грудью, наклоняясь всем телом и рискуя шлепнуться лицом о землю. Как ни билось начальство, оно не могло сделать из Никиты даже самого посредственного фронтовика. На ротных ученьях командир, разругав Никиту, распекал взводного унтер-офицера, а взводный взыскивал с того же Никиты. Взыскание состояло в назначении на дневальство не в очередь. Скоро, однако, унтер-офицер догадался, что лишнее дневальство было для Никиты не наказанием, а удовольствием. Он был прекрасный работник, и исполнение обязанностей дневально-

го, состоявших в носке дров и воды, топке печей и главным образом в содержании казарм в чистоте, то есть в непрерывном шарканье мокрой шваброй по полу, было ему по душе. Во время работы на нем по крайней мере не лежало обязанности думать, как бы не сбиться и не повернуться налево, когда командуют направо, и, кроме того, он чувствовал себя совершенно свободным от страшных вопросов по велемудрой науке, называемой у солдат словесностью: «Что есть солдат?», «Что есть знамя?».

Никита очень хорошо знает, что такое солдат и что такое знамя; он готов со всевозможным усердием исполнять свои солдатские обязанности и, вероятно, отдал бы жизнь, защищая знамя; но изложить по-книжному, обстоятельно, как требует того словесность, что такое знамя, – выше его сил.

– Знамя есть, которое хорю... хоруг... – лепечет он, стараясь как можно более вытянуть в струнку свое неуклюжее тело, подняв подбородок кверху и моргая лишенными ресниц веками.

– Дурак! – кричит чахоточный унтер-офи-

цер, обучающий словесности. – Что вы, аспиды, со мной делаете?... Долго ли мне с вами мучиться, идолы вы, мужичье сиволапое? Тьфу! Который раз тебе повторять надо? Ну, говори за мной: знамя есть священная хоругвь...

Никита не может повторить даже этих четырех слов. Грозный вид унтер-офицера и его крик действуют на него ошеломляющим образом; в ушах у него звенит; в глазах прыгают знамена и искры; он не слышит мудреного определения знамени; его губы не двигаются. Он стоит и молчит.

– Говори же, черт тебя возьми: знамя есть священная хоругвь...

– Знамя...

– Ну?...

– Хорюг... – продолжает Никита. Голос его дрожит, на глазах слезы.

– Есть священная хоругвь! – кричит взбешенный унтер-офицер.

– Священная, которая...

Унтер-офицер бежит из угла в угол, плюет и ругается. Никита стоит на том же месте и в той же позе, следя глазами за рассерженным

начальником. Он не возмущен бранью и оскорблениями и только всею душою горюет о своей неспособности «заслужить» начальству.



– На три дневальства не в очередь! – говорит упавшим голосом искричавшийся, изму-

ченный унтер-офицер, и Никита благодарит Бога, избавившего его, хоть на время, от ненавистной «словесности» и ученья.

Когда начальство заметило, что наказание, налагаемое им на Никиту, не только не причиняет ему огорчения, а даже доставляет радость, – Никита начал сидеть под арестом. Наконец, испробовав все средства для исправления несчастного, на него махнули рукой.

– С Ивановым, ваше благородие, ничего не поделаешь, – говорит почти каждый день на утреннем докладе ротному командиру фельдфебель.

– С Ивановым?... Да, да... Что же он такое делает? – отвечает капитан, сидящий в халате, с папироскою и прихлебывающий чай из стакана в мельхиоровом подстаканнике.

– Ничего, ваше благородие, не делает, человек он смирный, только понятия у него ни к чему нет.

– Попробуй как-нибудь, – говорит ротный, задумчиво выпустив изо рта колечко табачного дыма.

– Пробовали, ваше благородие, да ничего не выходит.

– Ну, так что ж мне с ним делать? Ведь согласишься, Житков, я не Бог. А? Ну дурак, так что же с ним поделаешь?... Ну, ступай.

– Счастливо оставаться, ваше благородие.

Наконец ротному надоело выслушивать каждый день жалобы фельдфебеля на Никиту.

– Отстань ты с своим Ивановым! – крикнул он. – Ну, не выводи его на ученье, плюнь на него. Сделай с ним что хочешь, только не лезь с ним ко мне...

Фельдфебель попытался было устроить перевод Никиты Иванова в нестроевую роту, но там и без того было много людей. Отдать его в денщики тоже не удалось, потому что у всех офицеров денщики уже были. Тогда на Никиту навалили черную работу, оставив все попытки сделать из него солдата. Так он прожил год, до тех пор, пока в роту не был назначен новый субалтерн-офицер, прапорщик Стебельков. Никиту отдали к нему «постоянным вестовым», то есть попросту денщиком.

Александр Михайлович Стебельков, новый хозяин Никиты, был очень добрый молодой человек, среднего роста, с бритым подбородком.



ком и великолепно вытянутыми, как острые палочки, усами, которых он иногда не без удовольствия слегка касался левою рукою. Он только что кончил курс юнкерского училища, не выказав в течение пребывания в нем особенного пристрастия к наукам, но зато в совершенстве познав строевую службу. Он был совершенно счастлив в своем настоящем положении. Два года, проведенные в училище на казенном содержании, под строгим надзором начальства, совершенное отсутствие знакомых, где можно было бы отдохнуть в праздничные дни от казарменной жизни училища, ни копейки собственных денег, с помощью которых он мог бы доставить себе какое-нибудь развлечение, – все это слишком утомило его. И теперь, увидев себя офицером, человеком, получающим до сорока рублей в месяц содержания, имеющим команду над полуротою солдат и в полном своем распоряжении денщика, он пока не желал ничего более. «Хорошо, очень хорошо», – думал он, засыпая, и, просыпаясь, прежде всего вспоминал, что он уже не юнкер, а офицер, что ему уже не надо тотчас же вскакивать с постели и одеваться,

под опасением нагоняя от дежурного офицера, а можно еще поваляться, понежиться и выкурить папиросу.

– Никита! – кричит он.

Никита, в полинялой розовой ситцевой рубашке, в черных суконных штанах и неизвестно где добытых им старых глубоких резиновых калошах на босую ногу, появляется в дверях, ведущих из единственной комнаты квартиры Стебелькова в переднюю.

– Холодно сегодня?

– Не могу знать, ваше благородие, – робко отвечает Никита.

– Поди погляди и скажи мне.

Никита немедленно отправляется на мороз и по прошествии минуты снова является в дверях передней.

– Дюже холодно, ваше благородие.

– Ветер есть?

– Не могу знать, ваше благородие.

– Дурак, как же ты не можешь знать? Ведь был на дворе...

– На дворе нетути, ваше благородие.

– «Нетути, нетути»!.. Поди на улицу!

Никита идет на улицу и приходит с докла-

дом, что «ветер здоровый».

– Ученья не будет, ваше благородие, Сидоров сказывал, – осмеливается дополнить он.

– Хорошо, ступай, – говорит Александр Михайлович.

Он свертывается в комок, натягивает на себя теплое байковое одеяло и в полудремоте начинает мечтать под треск ярко горящей печки, затопленной Никитой. Юнкерская жизнь представляется ему каким-то неприятным сном. «Ведь вот как недавно это было: бьет барабан над самым ухом, вскакиваешь, дрожишь от холода...» За этими воспоминаниями встают другие, тоже не особенно приятные. Бедность, жалкая обстановка мелких чиновников, всегда угрюмая мать, высокая тощая женщина с строгим выражением на худом лице, постоянно точно будто бы говорившем: «Пожалуйста, я не позволю всякому оскорблять меня!» Куча братьев и сестер, ссоры между ними, жалобы матери на судьбу и брань между нею и отцом, когда он являлся пьяным... Гимназия, в которой было так трудно учиться, несмотря на все старания; товарищи, преследовавшие его и неизвестно по ка-

кой причине называвшие его крайне обидным названием – «селедкою»; невыдержанный экзамен из русского языка; тяжелая, унижительная сцена, когда он, выключенный из гимназии, пришел домой весь в слезах. Отец спал на клеенчатом диване пьяный, мать возилась в кухне у печки, готовя обед. Увидя Сашу, входящего с книжками и в слезах, она поняла, что случилось, и набросилась на мальчугана с ругательствами, потом кинулась к отцу, разбудила его, втолковала ему, в чем дело, и отец побил мальчика.

Саше было тогда пятнадцать лет. Через два года он поступил на правах вольноопределяющегося в военную службу, а к двадцати годам был уже самостоятельным человеком, прапорщиком пехотного полка...

«Хорошо, – думается ему под одеялом. – Сегодня вечером в клуб... танцы...»

И представляется Александру Михайловичу зала офицерского клуба, полная света, жары, музыки и барышень, которые сидят целыми клумбами вдоль стен и только ждут, чтобы ловкий молодой офицер пригласил на несколько туров вальса. И Стебельков, щелк-

нув каблуками («жаль, черт возьми, шпор нет!»), ловко изгибается пред хорошенькою майорскою дочерью, грациозно развесив руки, говорит: «permettez»[5], и майорская дочь кладет ему ручку около эполета, и они несутся, несутся...

«Да, это не то что – селедка. И как глупо; ну, почему я селедка? Вот те-то, не селедки, там где-нибудь на первом курсе в университете сидят, голодают, а я... И чего это они непременно в университет? Положим, что жалованья судебный следователь или доктор получает побольше моего, но ведь сколько времени нужно добиваться... и все на свой счет жи-ви. То ли дело у нас: только поступи в училище, а там уж сам поедешь; если будешь хорошо служить, то можно и до генерала... Ух, тогда задал бы я!..» Александр Михайлович и сам не высказал себе, кому бы именно он задал, но воспоминание о «не селедках» в это мгновение мелькнуло у него в душе.

– Никита, – кричит он, – чай у нас есть?

– Никак нет, ваше благородие, весь вышел.

– Сходи, возьми осьмушку.

Он достает из-под подушки новенький ко-

шелек и дает Никите деньги.

Никита идет за чаем. Александр Михайлович продолжает свои размышления, и, пока Никита вернулся с чаем, барин уже успел снова уснуть.

– Ваше благородие, ваше благородие! – шепчет Никита.

– Что? А? Принес? Хорошо, я сейчас встану... Давай одеваться.

Александр Михайлович ни дома, ни в училище никогда не одевался иначе, как сам (исключая, разумеется, младенческого возраста), но, получив в свое распоряжение денщика, он в две недели совершенно разучился надевать и снимать платье. Никита натягивает на его ноги носки, сапоги, помогает надевать брюки, накидывает ему на плечи летнюю шинель, служащую вместо халата. Александр Михайлович, не умываясь, садится пить чай.

*... Получив в свое распоряжение денщика, он в две недели совершенно*

*разучился надевать и снимать платье.*

Приносят литографированный приказ по полку, и Стебельков, прочитывая его от первой строчки до последней, с удовольствием



видит, что его очередь идти в караул еще далеко. «А это еще что за новости?» – думает он, читая:

«В видах поддержания уровня знаний господ офицеров, предлагаю штабс-капитану Ермолину и поручику Петрову 2-му с будущей недели начать чтение лекций – первому по тактике, а второму по фортификации. О времени чтения, имеющего происходить в зале офицерского собрания, будет мною объявлено особым по полку приказом».

«Ну, вот уже это Бог знает что: ходить слушать тактику да фортификацию! – думает Александр Михайлович. – Мало они в училище надоели! Да и ничего нового не скажут, будут читать по старым запискам...»

Прочитав приказ и кончив пить чай, Александр Михайлович приказывает Никите убрать самовар и садится набивать папиросы, продолжая бесконечные размышления о своем прошлом, настоящем и будущем, которое сулит ему если не генеральские, жирные, то по крайней мере штаб-офицерские, густые эполеты. А когда все папиросы набиты, он ложится на постель и читает «Ниву» за про-



шлый год, рассматривая давно уже пересмотренные картинки и не пропуская ни одной строчки текста. Наконец от долгого лежания и чтения «Нивы» у него начинает мутить в голове.

– Никита! – кричит он.

Никита вскакивает с постланной на полу передней у печки шинели, служащей ему постелью, и кидается к барину.

– Посмотри, который час... Нет, лучше дай мне сюда часы.

Никита бережно берет со стола серебряные часы с цепочкой из нового золота и, подав их барину, снова удаляется в переднюю на свою шинель...

«Половина второго... Не пора ли идти обедать?» – думает Стебельков, заводя часы бронзовым ключиком, который он только что приобрел и в головке которого вставлена маленькая фотографическая картинка, видимая в увеличенном виде, если рассматривать ее на свет. Александр Михайлович смотрит картинку, прищулив левый глаз, и улыбается. «Какие славные штучки нынче делают, право! И как ухитряются... в таком маленьком

виде? – приходит ему в голову. – Однако нужно идти...»

– Никита! – кричит он.

Никита появляется.

– Давай умываться.

Никита приносит в комнату некрашенный табурет с поставленной на нем лоханкой с ручноймойником. Александр Михайлович начинает умываться. Чуть только касается его рук ледяная вода, он вскрикивает:

– Сколько раз я тебе, болван, говорил, чтобы ты оставлял воду на ночь в комнате! Ведь так рожу заморозишь... дурак...

Никита молчит в полном сознании вины и усердно подливает воду на ладони рассердившегося господина.

– Сюртук вычистил?

– Точно так, ваше благородие, вычистил, – говорит Никита и подает барину висевший на спинке стула новенький сюртук с блестящими золотыми погонами, украшенными цифрой и одной серебряной звездочкой.

Прежде чем надеть его, Александр Михайлович внимательно рассматривает темно-зеленое сукно и находит пушинку.

– Это что такое? Это разве значит чистить? Так ты исполняешь свои обязанности? Пошел, дурак, почисть еще.

Никита идет в переднюю и начинает извлекать из щетки, при помощи сюртука, звуки, известные под названием шурханья. Стебельков, при помощи складного зеркала в желтой деревянной оправе и *romme hongroise*[6], начинает доводить свои усы до возможного совершенства. Наконец усы приведены в полный порядок, а шурханье в передней все еще продолжается.

– Давай сюртук, не до второго же пришествия будешь ты его чистить... Еще опоздаешь из-за тебя, дурак...

Он внимательно застегивает сюртук, потом надевает саблю, калоши, шинель и выходит на улицу, гремя ножнами по мерзлым доскам тротуара.

Остальная часть дня проходит в обеде, чтении «Русского инвалида», разговорах с товарищами о службе, производстве, содержании; вечером Александр Михайлович отправляется в клуб и мчится «в вихре вальса» с майорской дочерью. Он возвращается домой поздно

вечером, усталый, с легким опьянением от нескольких рюмочек, выпитых во время вечера, но довольный... Жизнь разнообразится только учениями, караулами, летом лагерями, иногда маневрами и редко лекциями по фортификации и тактике, которых нельзя не посещать. И тянется она годы, не оставляя на Стебелькове никаких следов; только цвет лица изменяется, да лысинка начинает пробиваться, да вместо одной звездочки на погонах появляются две, потом три, потом четыре...

Что же делает в это время Никита? А Никита большею частью лежит на своей шинельке у печки, вскакивая на беспрестанные требования барина. Утром у него довольно работы: нужно затопить печь, поставить самовар, принести воды, вычистить сапоги, платье, одеть барина, когда встанет, вымести комнату, прибрать ее. (Правда, последнее не требует много времени: вся мебель в комнате состоит из кровати, стола, трех стульев, этажерки и чемодана.) Все ж таки есть для Никиты хоть призрак дела. По уходе барина начинается бесконечный день, состоящий почти в обязательном ничегонеделанье, и прерывает-

ся только походом в казарму за обедом с ротной кухни. Живя еще в казарме, Никита научился немного чеботарить: класть заплатки, подкидывать подметки, набивать подборы; переселившись к Стебелькову, он вздумал было продолжать свое ремесло, пряча мешок за двери в сенях, как только раздавался стук в двери. Барин, несколько дней замечавший, что в передней сильно пахнет черным товаром, доискался причины запаха и задал Никите жестокую головоломку, после чего приказал, «чтобы этого никогда не было». Тогда Никите осталось только лежать на своей шинельке и думать. И он лежал на ней и думал целые вечера, засыпая под конец до той минуты, когда раздавался стук в двери, возвещавший приход барина; Никита раздевал его, и скоро маленькая квартирка погружалась во мрак; офицер и денщик спали.

Гудит и завывает ветер, бьет хлопьями снег в окно. И кажется он спящему прапорщику Стебелькову громом бальной музыки; видит он во сне ярко освещенную залу, такую, какой никогда не видал, полную незнакомого ему разодетого народа. Но он не чувствует се-

бя смущенным, а напротив – героем вечера. Тут и знакомое ему общество; оно относится к нему не так, как до сих пор, а с каким-то восторгом: полковник, вместо того чтобы подать ему два пальца, жмет ему руку обеими толстыми руками; майор Хлобуцин, всегда косо смотревший на его ухаживанье за дочкой, сам подводит ее к нему, смиренно кланяясь. Что он сделал великого, за что его возносят, он не знает, но что-то он сделал, это несомненно. Он смотрит на свои плечи и видит на них генеральские эполеты. Музыка гремит, пары несутся, и он сам несется куда-то все дальше и дальше, все выше и выше. Блестящая зала далеко от него и кажется ему уже только маленькой светлой точкой. Вокруг него множество людей в разных мундирах; все спрашивают его приказаний. Он не знает, о чем они спрашивают, но отдает приказания, ординарцы мчатся к нему и от него. Гром пушек слышен вдали; звучат марши; полки идут за полками. Все движется куда-то вместе с ним; пушки гремят ближе, и Стебелькову становится страшно. «Убьют!» – думает он. И страшный крик раздается со всех сторон; бе-

гут на него странные, уродливые и свирепые люди, каких он никогда не видывал. Они все ближе и ближе; сердце Стебелькова сжимается невыразимым ужасом, какой бывает только во сне, и он кричит: «Никита!»

Гудит и завывает ветер, бьет хлопьями снега в окно. И кажется он спящему Никите настоящим ветром, непогодю. Снится ему, что лежит он в своей избе, один; около него нет ни жены, ни отца, никого из семьи. Он не знает, как он попал домой, и боится, не убежал ли он из полка. Чудится ему, что за ним наряжена погоня, и чувствует он, что она близко, и хочет он бежать и спрятаться куда-нибудь, но не может шевельнуть ни одним членом. Тогда он кричит, и вся изба наполняется людьми; всё деревенские знакомые, но лица у них какие-то чудные. «Здравствуй, Никита, — говорят ему. — Твоих, брат, никого нету, всех Бог прибрал! Все померли. Вот они, глянь-ка сюда!» И Никита видит всю свою семью в толпе: и Иван, и жена, и тетка Парасковья, и ребятишки. И понимает он, что хотя они стоят вместе со всеми, но уже мертвые, и все деревенские тоже мертвые: оттого они

так чудно и смеются. Идут они к нему, хватают его, но он вырывается и бежит по сугробам, спотыкаясь и падая; за ним гонятся уже не мертвые, а прапорщик Стебельков с солдатами. И он бежит все дальше и дальше, а прапорщик кричит ему: «Никита, Никита, Никита!..»

– Никита! – действительно кричит Стебельков.

Проснувшийся Никита вскакивает и оцупью идет в комнату, шлепая босыми ногами.

– Что ты, черт тебя возьми, смеешься надо мной, что ли? Сколько раз я тебе говорил, чтобы ты клал около меня спички! И дрыхнет как, болван! Полчаса зову, не дозовусь. Дай огня!

Заспанный Никита шарит по столу и окнам и находит спички. Он зажигает свечу, вставленную в медный позеленевший подсвечник, и, щурясь, подает ее барину. Александр Михайлович выкуривает папироску, и через четверть часа офицер и денщик снова спят глубоким сном.



# То, чего не было

В один прекрасный июньский день, – а прекрасный он был потому, что было двадцать восемь градусов по Реомюру, – в один прекрасный июньский день было везде жарко, а на полянке в саду, где стояла копна недавно скошенного сена, было еще жарче, потому что место было закрытое от ветра густым-прегустым вишняком. Все почти спало: люди наелись и занимались послеобеденными боковыми занятиями; птицы примолкли, даже многие насекомые попрятались от жары. О домашних животных нечего и говорить: скот крупный и мелкий прятался под навес; собака, вырыв себе под амбаром яму, улеглась туда и, полузакрыв глаза, прерывисто дышала, высунув розовый язык чуть не на пол-аршина; иногда она, очевидно от тоски, происходящей от смертельной жары, так зевала, что при этом даже раздавался тоненький визг; свиньи, маменька с тринадцатью детками, отправились на берег и улеглись в черную жирную грязь, причем из грязи видны были только сопевшие и храпевшие сви-

ные пяточки с двумя дырочками, продолговатые, облитые грязью спины да огромные повислые уши. Одни куры, не боясь жары, кое-как убивали время, разгребая лапами сухую землю против кухонного крыльца, в которой, как они отлично знали, не было уже ни одного зернышка; да и то петуху, должно быть, приходилось плохо, потому что иногда он принимал глупый вид и во все горло кричал: «Какой ска-ан-да-ал!!»

Вот мы и ушли с полянки, на которой жарче всего, а на этой-то полянке и сидело целое общество неславших господ. То есть сидели-то не все; старый гнедой, например, с опасностью для своих боков от кнута кучера Анто-на разгребавший копну сена, будучи лоша-дью, вовсе и сидеть не умел; гусеница какой-то бабочки тоже не сидела, а скорее лежала на животе: но дело ведь не в слове. Под вишнею собралась маленькая, но очень серьезная компания: улитка, навозный жук, ящерица, вышеупомянутая гусеница; приска-кал кузнечик. Возле стоял и старый гнедой, прислушиваясь к их речам одним, поверну-тым к ним, гнедым ухом с торчащими изнут-

ри темно-серыми волосами; а на гнедом сидели две мухи.

Компания вежливо, но довольно одушевленно спорила, причем, как и следует быть, никто ни с кем не соглашался, так как каждый дорожил независимостью своего мнения и характера.

– По-моему, – говорил навозный жук, – порядочное животное прежде всего должно заботиться о своем потомстве. Жизнь есть труд для будущего поколения. Тот, кто сознательно исполняет обязанности, возложенные на него природой, тот стоит на твердой почве: он знает свое дело, и, что бы ни случилось, он не будет в ответе. Посмотрите на меня: кто трудится больше моего? Кто целые дни без отдыха катает такой тяжелый шар – шар, мною же столь искусно созданный из навоза, с великой целью дать возможность вырасти новым, подобным мне, навозным жукам? Но зато не думаю, чтобы кто-нибудь был так спокоен совестью и с чистым сердцем мог бы сказать: «Да, я сделал все, что мог и должен был сделать», как скажу я, когда на свет явятся новые навозные жуки. Вот что значит труд!

– Поди ты, братец, с своим трудом! – сказал муравей, притащивший во время речи навозного жука, несмотря на жару, чудовищный кусок сухого стебелька. Он на минуту остановился, присел на четыре задние ножки, а двумя передними отер пот со своего измученного лица. – И я ведь тружусь, и побольше твоего. Но ты работаешь для себя или, все равно, для своих жученят; не все так счастливы... попробовал бы ты потаскать бревна для казны, вот как я. Я и сам не знаю, что заставляет меня работать, выбиваясь из сил, даже и в такую жару. Никто за это и спасибо не скажет. Мы, несчастные рабочие муравьи, все трудимся, а чем красна наша жизнь? Судьба!..

– Вы, навозный жук, слишком сухо, а вы, муравей, слишком мрачно смотрите на жизнь, – возразил им кузнечик. – Нет, жук, я люблю-таки потрещать и попрыгать, и ничего! Совесть не мучит! Да притом вы несколько не коснулись вопроса, поставленного госпожой ящерицей: она спросила: «Что есть мир?», а вы говорите о своем навозном шаре; это даже невежливо. Мир – мир, по-моему, очень хорошая вещь уже потому, что в нем

есть для нас молодая травка, солнце и ветерок. Да и велик же он! Вы здесь, между этими деревьями, не можете иметь никакого понятия о том, как он велик. Когда я бываю в поле, я иногда вспрыгиваю, как только могу, вверх и, уверяю вас, достигаю огромной высоты. И с нее-то вижу, что миру нет конца.

– Верно, – глубокомысленно подтвердил гнедой. – Но всем вам все-таки не увидеть и сотой части того, что видел на своем веку я. Жаль, что вы не можете понять, что такое верста... За версту отсюда есть деревня Лупаревка: туда я каждый день езжу с бочкой за водой. Но там меня никогда не кормят. А с другой стороны Ефимовка, Кисляковка; в ней церковь с колоколами. А потом Свято-Троицкое, а потом Богоявленск. В Богоявленске мне всегда дают сена, но сено там плохое. А вот в Николаеве, – это такой город, двадцать восемь верст отсюда, – так там сено лучше и овес дают, только я не люблю туда ездить: туда ездит на нас барин и велит кучеру погонять, а кучер больно стегает нас кнутом... А то есть еще Александровка, Белозерка, Херсон-город тоже... Да только куда вам понять

все это!.. Вот это-то и есть мир; не весь, положим, ну да все-таки значительная часть.

И гнедой замолчал, но нижняя губа у него все еще шевелилась, точно он что-нибудь шептал. Это происходило от старости: ему был уже семнадцатый год, а для лошади это все равно что для человека семьдесят седьмой.

– Я не понимаю ваших мудреных лошадиных слов, да, признаться, и не гонюсь за ними, – сказала улитка. – Мне был бы лопух, а его довольно: вот уже я четыре дня ползу, а он все еще не кончается. А за этим лопухом есть еще лопух, а в том лопухе, наверно, сидит еще улитка. Вот вам и все. И прыгать никуда не нужно – все это выдумки и пустяки; сиди себе да ешь лист, на котором сидишь. Если бы не лень ползти, давно бы ушла от вас с вашими разговорами; от них голова болит, и больше ничего.

– Нет, позвольте, отчего же? – перебил кузнечик. – Потрещать очень приятно, особенно о таких хороших предметах, как бесконечность и прочее такое. Конечно, есть практические натуры, которые только и заботятся о

том, как бы набить себе живот, как вы или вот эта прелестная гусеница...

– Ах, нет, оставьте меня, прошу вас, оставьте, не троньте меня! – жалобно воскликнула гусеница. – Я делаю это для будущей жизни, только для будущей жизни.

– Для какой там еще будущей жизни? – спросил гнедой.

– Разве вы не знаете, что я после смерти сделаюсь бабочкой с разноцветными крыльями?

Гнедой, ящерица и улитка этого не знали, но насекомые имели кое-какое понятие. И все немного помолчали, потому что никто не умел сказать ничего путного о будущей жизни.

– К твердым убеждениям нужно относиться с уважением, – затрещал наконец кузнецик. – Не желает ли кто сказать еще что-нибудь? Может быть, вы? – обратился он к мухам, и старшая из них ответила:

– Мы не можем сказать, чтобы нам было худо. Мы сейчас только из комнат; барыня расставила в мисках наваренное варенье, и мы забрались под крышку и наелись. Мы до-

вольны. Наша маменька увязла в варенье, но что ж делать? Она уже довольно пожила на свете. А мы довольны.

– Господа, – сказала ящерица, – я думаю, что все вы совершенно правы! Но с другой стороны...

Но ящерица так и не сказала, что было с другой стороны, потому что почувствовала, как что-то крепко прижало ее хвост к земле.

Это пришел за гнедым проснувшийся кучер Антон; он нечаянно наступил своим сапожищем на компанию и раздавил ее. Одни мужи улетели обсасывать свою мертвую, обмазанную вареньем маменьку, да ящерица убежала с оторванным хвостом. Антон взял гнедого за чуб и повел его из сада, чтобы запрячь в бочку и ехать за водой, причем приговаривал: «Ну, иди ты, хвостяка!», на что гнедой ответил только шептаньем.

А ящерица осталась без хвоста. Правда, через несколько времени он вырос, но навсегда остался каким-то тупым и черноватым. И когда ящерицу спрашивали, как она повредила себе хвост, то она скромно отвечала:

– Мне оторвали его за то, что я решилась



высказать свои убеждения.

И она была совершенно права.

1882

# Из воспоминаний рядового Иванова

## I

Четвертого мая тысяча восемьсот семьдесят седьмого года я приехал в Кишинев и через полчаса узнал, что через город проходит 56-я пехотная дивизия. Так как я приехал с целью поступить в какой-нибудь полк и побывать на войне, то седьмого мая, в четыре часа утра, я уже стоял на улице в серых рядах, выстроившихся перед квартирой полковника 222-го Старобельского пехотного полка. На мне была серая шинель с красными погонами и синими петлицами, кепи с синим околышем; за спиною ранец, на поясе патронные сумки, в руках тяжелая крынковская винтовка.

Музыка грянула: от полковника выносили знамена. Раздалась команда; полк беззвучно сделал на караул. Потом поднялся ужасный крик: скомандовал полковник, за ним батальонные и ротные командиры и взводные унтер-офицеры. Следствием всего этого было за-

путанное и совершенно непонятное для меня движение серых шинелей, кончившееся тем, что полк вытянулся в длинную колонну и мерно зашагал под звуки полкового оркестра, гремевшего веселый марш. Шагал и я, стараюсь попадать в ногу и идти наравне с соседом. Ранец тянул назад, тяжелые сумки – вперед, ружье соскакивало с плеча, воротник серой шинели тер шею; но, несмотря на все эти маленькие неприятности, музыка, стройное, тяжелое движение колонны, раннее свежее утро, вид щетины штыков, загорелых и суровых лиц настраивали душу твердо и спокойно.

У ворот домов, несмотря на раннее утро, толпился народ; из окон глядели полураздетые фигуры. Мы шли по длинной прямой улице, мимо базара, куда уже начали съезжаться молдаване на своих воловьих возах; улица поднималась в гору и упиралась в городское кладбище. Утро было пасмурное и холодное, накрапывал дождик; деревья кладбища виднелись в тумане; из-за мокрых ворот и стены выглядывали верхушки памятников. Мы обходили кладбище, оставляя его вправо. И ка-

залось мне, что оно смотрит на нас сквозь туман в недоумении. «Зачем идти вам, тысячам, за тысячи верст умирать на чужих полях, когда можно умереть и здесь, умереть покойно и лечь под моими деревянными крестами и каменными плитами? Оставайтесь!»

Но мы не остались. Нас влекла неведомая тайная сила: нет силы большей в человеческой жизни. Каждый отдельно ушел бы домой, но вся масса шла, повинуюсь не дисциплине, не сознанию правоты дела, не чувству ненависти к неизвестному врагу, не страху наказания, а тому неведомому и бессознательному, что долго еще будет водить человечество на кровавую бойню – самую крупную причину всевозможных людских бед и страданий.

За кладбищем открылась широкая и глубокая долина, уходившая из глаз в туман. Дождь пошел сильнее; кое-где, далеко-далеко, тучи, раздаваясь, пропускали солнечный луч; тогда косые и прямые полосы дождя сверкали серебром. По зеленым склонам долины ползли туманы; сквозь них можно было различить длинные, вытянувшиеся колонны

войск, шедших впереди нас. Изредка блестяли кое-где штыки; орудие, попав в солнечный свет, горело несколько времени яркою звездочкою и меркло. Иногда тучи сдвигались: становилось темнее; дождь шел чаще. Через час после выступления я почувствовал, как струйка холодной воды побежала у меня по спине.

Первый переход был невелик: от Кишинева до деревни Гаурени всего восемнадцать верст. Однако с непривычки нести на себе фунтов двадцать пять – тридцать груза, я, добравшись до отведенной нам хаты, сначала даже сесть не мог: прислонился ранцем к стене, да так и стоял минут десять в полной амуниции и с ружьем в руках. Один из солдат, идя на кухню за обедом, сжалившись надо мной, взял и мой котелок; но когда он пришел, то застал меня спящим глубоким сном. Я проснулся только в четыре часа утра от нестерпимо резких звуков рожка, игравшего генерал-марш, и через пять минут снова шагнул по грязной глинистой дороге, под мелко сыпавшим, точно сквозь сито, дождиком. Передо мною двигалась чья-то серая спина с на-

вьюченным на нее бурым телячьим ранцем, побрякивавшим железным котелком и ружьем на плече; с боков и сзади тоже шли такие же серые фигуры. Первые дни я не мог отличить их друг от друга. 222-й пехотный полк, куда я попал, состоял большею частью из вятских (вячких, как они говорили) и костромских мужиков. Всё широкие, скуластые лица, побуревшие от холода; серые небольшие глаза, белокурые, бесцветные волосы и бороды. Хотя я и помнил несколько фамилий, но кому они принадлежат – не знал. Через две недели я не мог понять, как я мог смешивать двух своих соседей: одного, шедшего рядом со мною, и другого, шедшего рядом с обладателем серой спины, бывшей постоянно перед моими глазами. Я безразлично называл их Федоровым и Житковым и постоянно ошибался, а между тем они были совершенно не похожи друг на друга.

Федоров, ефрейтор, был молодой человек лет двадцати двух, среднего роста, стройно, даже изящно сложенный. У него было правильное, будто выточенное лицо, с очень красиво очерченными носом, губами и подбород-

ком, покрытым белокурой курчавой бородкой, и с веселыми голубыми глазами. Когда кричали: «Песенники, вперед!», он бывал запевалой нашей роты и чисто выводил грудным тенором, на высоких нотах прибегая к высочайшему фальцету:

*... Царя тре-е-буют в сенат!*

Он был уроженец Владимирской губернии, с детства попавший в Петербург. Что редко случается, петербургская «образованность» не испортила его, но только отшлифовала, научив, между прочим, читать газеты и говорить всякие мудреные слова.

– Конечно, Владимир Михайлович, – говорил он мне, – я могу иметь рассуждения больше, чем дядя Житков, так как Питер оказал на меня свое влияние. В Питере цивилизация, а у них в деревне одно незнание и дикость. Но, однако, как они человек пожилой и, можно сказать, виды видевший и перенесший различные превратности судьбы, то я не могу на них орать, например. Ему сорок, а мне двадцать третий. Хотя я в роте и ефрейтор.

Дядя Житков – коренастый, необыкновен-

ной силы мужик, всегда мрачного вида. Лицо у него было темное, скуластое, глаза маленькие, смотревшие исподлобья. Он никогда не улыбался и редко говорил. Он был плотник по ремеслу и находился в бессрочном отпуску, когда мобилизовали нашу армию. До чистой отставки ему оставалось всего несколько месяцев; началась война, и Житков пошел в поход, оставив дома жену и пятерых ребятшек. Несмотря на непривлекательную наружность и вечную мрачность, в нем было что-то влекущее, доброе и сильное. Теперь мне кажется совершенно непонятным, как я мог смешивать этих соседей, но в первые два дня оба мне казались одинаковыми: серыми, навьюченными, уставшими и продрогшими.

Всю первую половину мая шли непрерывные дожди, а мы двигались без палаток. Бесконечная глинистая дорога подымалась на холм и спускалась в овраг чуть ли не на каждой версте. Идти было тяжело. На ногах комья грязи, серое небо низко повисло, и беспрерывно сеет на нас мелкий дождь. И нет ему конца, нет надежды, придя на ночлег, вы-





сушиться и отогреться: румыны не пускали нас в жилье, да им и негде было поместить такую массу народа. Мы проходили город или деревню и становились где-нибудь на выгоне.  
– Стой... Составь!

И приходилось, поевши горячей похлебки, укладываться прямо в грязь. Снизу вода, сверху вода; казалось, и тело все пропитано во-

дой. Дрожишь, кутаешься в шинель, поне-многу начинаешь согреваться влажною теплотой и крепко засыпаешь опять до прокли-наемого всеми генерал-марша. Снова серая колонна, серое небо, грязная дорога и печаль-ные мокрые холмы и долины. Людям прихо-дилось трудно.

– Растворились все хляби небесные, – со вздохом говорил наш полувзводный ун-тер-офицер Карпов, старый солдат, сделав-ший хивинский поход, – Мокнем, мокнем без конца.

– Высохнем, Василь Карпыч! Вот солныш-ко выглянет, всех высушит. Поход долг: по-спеем и высохнуть и вымокнуть, пока дой-дем. Михайлыч! – обращается сосед ко мне. – Далече ли до Дунаю-то?

– Недели три еще пройдем.

– Три недели! Да две идем вот...

– Идем к черту в лапы, – проворчал дядя Житков.

– Чего ты там, старый черт, ворчишь? На-род смущаешь! К какому черту в лапы? Поче-му ты такое произносишь?

– На праздник, что ли, идем? – огрызнулся

Житков.

– Не на праздник, а как должны исполнять присягу!.. Ты что, когда присягал, говорил? «Не щадя живота!..» А! Старый дурак! Ты смотри у меня!

– Что ж я сказал, Василь Карпыч? Нешто не иду! Помирать так помирать... все одно...

– То-то! Поговори еще!

Житков молчит; лицо его становится еще мрачнее. Да и всем вообще не до разговоров: идти было слишком тяжело. Ноги скользят, и люди часто падают в липкую грязь. Крепкая ругань раздаётся по батальону. Один Федоров не вешает носа и без усталости рассказывает мне историю за историей о Петербурге и деревне.

Однако всему бывает конец. Однажды, проснувшись утром на бивуаке около деревни, где была назначена дневка, я увидел голубое небо, белые мазанки и виноградники, ярко залитые утренним солнцем, услышал повеселевшие, живые голоса. Все уже встали, обсушились и отдыхали от тяжелого полуторанедельного похода под дождем без палаток. Во время дневки привезли и их. Солдаты тот-

час же принялись натягивать их и, устроив все как следует, забив колышки и натянув полотноща, почти все улеглись под тень.

– От дождя не помогли, от солнышка сберегут.

– Да, чтобы личико у барина не почернело, – пошутил Федоров, лукаво подмигивая в мою сторону.

## II

В нашей роте было всего два офицера: ротный командир – капитан Заикин и субалтерн-офицер – прапорщик Стебельков. Ротный был человек средних лет, толстенький и добрый; Стебельков – юноша, только что выпущенный из училища. Жили они дружно; капитан приголубил прапорщика, поил и кормил его, а во время дождей даже прикрывал под своим единственным гуттаперчевым плащом. Когда роздали палатки, наши офицеры поместились вместе, а так как офицерские палатки были просторны, то капитан решил поселить с собою и меня.

Утомленный бессонною ночью (накануне наша рота была назначена к обозу, и мы всю ночь вытаскивали его из рытвин и даже вы-

возили при помощи «Дубинушки» из разлившейся речки), я крепко уснул после обеда. Денщик ротного командира разбудил меня, осторожно трогая за плечо.

– Барин Иванов! Барин Иванов! – шептал он, как будто не хотел разбудить меня, а, напротив, всеми силами старался не нарушить моего сна.

– Что вам?

– Ротный требуют. – И, видя, что я надеваю португальскую сапожку со штыком, прибавил: – Они сказали: веди в чем есть.

В палатке Заикина собралась целая компания. Кроме хозяев, было еще два офицера: полковой адъютант и командир стрелковой роты Венцель. В 1877 году батальон состоял не из четырех, как теперь, а из пяти рот; на походе стрелковая рота шла сзади, так что наша рота своими последними рядами соприкасалась с ее первыми. Мне приходилось идти почти между стрелками, и я уже несколько раз слышал от них самые дурные отзывы о штабс-капитане Венцеле. Все четверо сидели вокруг ящика, заменявшего стол и занятого самоваром, посудой и бутылкой, и пили чай.

– Господин Иванов! Пожалуйте, пожалуйста! – закричал капитан. – Никита! Чашку, кружку, стакан, что там у тебя есть! Подвинься, Венцель; пусть он присаживается.

Венцель встал и весьма любезно поклонился. Это был сухощавый, небольшого роста молодой человек, бледный и нервный.

«Какие у него беспокойные глаза и какие тонкие губы!» – пришло мне тогда в голову.

Адъютант, не вставая, протянул мне руку.

– Лукин, – коротко отрекомендовался он.

Мне было неловко. Офицеры молчали; Венцель прихлебывал чай с ромом; адъютант пыхтел коротенькой трубкой; прапорщик Стебельков, кивнув мне головою, продолжал читать растрепанный том какого-то переводного романа, совершившего в его чемодане поход из России за Дунай и вернувшегося впоследствии в еще более растрепанном виде в Россию. Хозяин налил большую глиняную кружку чаю и влил в него огромную порцию рому.

– Натек-ка, господин студент! Вы на меня не сердитесь: я человек простой. Да и все мы здесь, знаете, люди простые. А вы человек об-

разованный; значит, должны нас извинить. Так, что ли?

И он своею огромною рукою схватил мою руку сверху, как хищная птица хватает добычу, и несколько раз потряс ее в воздухе, нежно смотря на меня выпученными и округлившимися маленькими глазами.

– Вы студент? – спросил Венцель.

– Да, бывший, господин капитан.

Он улыбнулся и поднял на меня свой беспокойный взор. Мне вспомнились солдатские рассказы, но в ту минуту я усомнился в их правдивости.

– Зачем это «господин капитан»? Здесь, в палатке, вы свой между своими. Здесь вы просто интеллигентный человек между такими же, – тихо сказал он.

– Интеллигентный, это верно! – закричал Заикин. – Студент! Люблю студентов, хоть они и бунтовщики. Сам был бы студентом, если бы не судьба.

– Какая ж такая у тебя особенная судьба, Иван Платоныч? – спросил адъютант.

– Да приготовиться никак не мог. Ну, математика еще туда-сюда, а уж насчет другого че-

го – не идет, да что хочешь. Словесность эта... Правописание... Так и в юнкерском училище писать не научился. Ей-богу!

– Знаете, господин студент, – сказал адъютант между двумя огромными выпущенными им клубами дыма, – как Иван Платоныч в слове «еще» четыре ошибки делает?

– Ну, ну, не ври, тетенька! – Заикин отмахнулся рукой.

– Право, не вру. «И», «эс», «ша», «о» – как это вам покажется?

И адъютант громко расхохотался.

– Дери глотку. Сам тоже... еще адъютант! «Стол» через ять пишет.

Адъютант совсем залился; прапорщик Стебельков, только что хлебнувший чаю, приснул им на свой роман и потушил одну из двух свечей, освещавших палатку; я тоже не мог удержаться от смеха. Иван Платоныч, более всех довольный своей остротой, гремел раскатами басистого хохота. Один Венцель не смеялся.

– Так словесность, Иван Платоныч? – по-прежнему тихо спросил он.

– Словесность, словесность... Ну, и прочее.



Знаете, как некто географию прошел до «экватора», а историю до «эры». Да нет! Это все ерунда, не в том дело. А просто деньжонки водились, ну и прожигал жизнь. Ведь я, Иванов... позвольте имя и отчество?...

– Владимир Михайлыч.

– Владимир Михайлыч! Ладно... Ведь я беспутная голова был смолоду. Чего только не выкидывал! Ну, знаете, как в песне поется: «Жил я, мальчик, веселился и имел свой капитал; капиталу, мальчик, я решился и в неволю жить попал». Поступил юнкером в сей славный, хотя глубоко армейский полк; послали в училище, кончил с грехом пополам, да вот и тяну лямку второй десяток лет. Теперь вот на турку прем. Выпьемте, господа, натурального. Стоит ли его чаем портить? Выпьем, господа «пушечное мясо».

– Char à saпон, – перевел Венцель.

– Пускай шер а канон, пускай по-французски. Капитан у нас умный, Владимир Михайлыч: языки знает и разные немецкие стишки наизусть долбит. Слушайте, юноша! Я вас затем позвал, чтобы предложить вам перебраться ко мне в палатку. Там ведь вам вше-

стером с солдатами тесно и скверно. Насекомые. Все-таки у нас лучше...

– Благодарю вас, только позвольте отказаться.

– Это отчего? Вздор! Никита! Тащи его ранец! Вы в которой палатке?

– Вторая с правой стороны. Только все-таки позвольте мне остаться там. Мне ведь с солдатами больше бывать приходится. Лучше уж совсем с ними.

Капитан внимательно посмотрел на меня, как будто бы хотел прочитать мои мысли. Подумав, он сказал:

– Вы что же, в дружбе с ними состоять хотите?

– Да, если это будет возможно.

– Верно. Не перебирайтесь. Уважаю.

И он сгреб своей ручищей мою руку и начал трясти ее в воздухе.

Немного времени спустя я распрощался с офицерами и вышел из палатки. Вечерело; люди одевались в шинели, приготавливаясь к зоре. Роты выстроились на линейках, так что каждый батальон образовал замкнутый квад-

рат, внутри которого были палатки и ружья в козлах. В тот же день, благодаря дневке, собралась вся наша дивизия. Барабаны проббили зóрю, откуда-то издалека слышались слова команды:

– Полки, на молитву, шапки долой!

И двенадцать тысяч человек обнажили головы. «Отче наш, иже еси на небесех», – начала наша рота. Рядом тоже запели. Шестьдесят хоров, по двести человек в каждом, пели каждый сам по себе; выходили диссонансы, но молитва все-таки звучала трогательно и торжественно. Понемногу начали затихать хоры; наконец далеко, в батальоне, стоявшем на конце лагеря, последняя рота пропела: «... но избави нас от лукавого». Коротко проббили барабаны.

– Накройсь!

Солдаты укладывались спать. В нашей палатке, где, как и в других, помещалось шестеро на пространстве двух квадратных сажен, мое место было с краю. Я долго лежал, смотря на звезды, на костры далеких войск, слушая смутный и негромкий шум большого лагеря. В соседней палатке кто-то рассказывал сказ-

ку, беспрестанно повторяя слова «наконец того», произнося не «тово», а «того».

– Наконец того, приходит тот принц к своей супруге и начал ей про все выговаривать. Наконец того, она... Лютиков, спишь, что ли?... Ну, спи, Христос с тобой, Господи, Царица Небесная... Преподобных Отец наших... – шепчет рассказчик и стихает.

В офицерской палатке тоже говор. По освещенному изнутри полотну двигаются огромные и уродливые тени сидящих в палатке офицеров. Изредка слышен взрыв хохота: это заливается адъютант. По линейке ходит туда и сюда часовой с ружьем; напротив нас, на бивуаке недалеко стоящей артиллерии, тоже часовой, с обнаженной шашкой. Оттуда изредка слышен топот лошадей у коновязей, их фырканье, слышно, как они мирно жуют овес, с таким же добродушным шурханьем, какое мне случалось слышать не на войне, а где-нибудь на постоялом дворе на родине, в такую же тихую звездную ночь. Семь звезд Большой Медведицы блестели низко над горизонтом, гораздо ниже, чем у нас. Смотря на Полярную звезду, я думал, что именно в этом

направлении должен быть Петербург, где я оставил мать, друзей и все дорогое. Над головою блестели знакомые созвездия; Млечный Путь не тускло светился, а сиял ясною, торжественно-спокойною полосой света. На юге какие-то большие звезды незнакомого, не видимого у нас созвездия горели одна красным, другая зеленоватым огнем. Мне думалось: «Когда мы пойдем дальше, за Дунай, за Балканы, в Константинополь, увижу ли я тогда еще новые звезды? И какие они?»

Спать не хотелось; я встал и начал бродить по сырой траве между нашим батальоном и артиллерией. Темная фигура поравнялась со мною, гремя саблею; по ее звуку я догадался, что это офицер, и вытянулся во фронт. Офицер подошел ко мне и оказался Венцелем.

– Не спится, Владимир Михайлыч? – спросил он мягким и тихим голосом.

– Не спится, господин капитан.

– Меня зовут Петр Николаевич... И мне тоже не спится. Сидел, сидел у вашего командира, надоело: засели за карты, да и перепились все... Ах, какая ночь!

Он пошел рядом со мною; дойдя до конца

линейки, мы повернули назад и прошли несколько раз взад и вперед молча. Венцель начал первый:

– Скажите мне, вы пошли в поход по собственному желанию?

– Да.

– Что же влекло вас?

– Как вам сказать? – ответил я, не желая вдаваться в подробности. – Больше всего, конечно, желание поиспытать, посмотреть.

– И, вероятно, изучить народ в лице его представителя – солдата? – спросил Венцель.

Было темно, и я не видел выражения его лица, но слышал в голосе иронию.

– Куда уж тут изучать! До изучения ли, когда думаешь только о том, как бы дойти до привала да заснуть!

– Нет, без шуток. Скажите мне, отчего вы не перебрались к вашему командиру? Неужели вы дорожите мнением этого мужичья?

– Конечно, дорожу, как мнением всех, кого у меня нет причины не уважать.

– Не имею причины вам не верить. Да, впрочем, ведь теперь такая полоса нашла. И литература – и та возводит мужика в ка-

кой-то перл творения.

– Кто говорит о перлах творения, Петр Николаевич! Признавали бы человека, и то ладно.

– Ах, полноте, пожалуйста, с жалкими словами! Кто его не признает? Человек? – ну, пусть будет человек; какой? – это другой вопрос... Давайте поговорим о другом.

Мы действительно разговорились. Венцель, видимо, очень много читал и, как сказал Заикин, знал и языки. Замечание капитана о том, что он «стихи долбит», тоже оказалось верным: мы заговорили о французах, и Венцель, обругав натуралистов, перешел к сороковым и тридцатым годам и даже с чувством продекламировал «Декабрьскую ночь» Альфреда де Мюссе. Он читал хорошо: просто, и выразительно, и с хорошим французским выговором. Кончив, он помолчал и прибавил:

– Да, это хорошо; но все французы вместе не стоят десяти строк Шиллера, Гёте и Шекспира.

Заведуя полковой библиотекой, пока не принял роту, он прилежно следил и за русской литературой. Говоря о ней, он строго осу-

дил, как он выразился, «сиволапое направление». От этого замечания разговор вернулся к прежнему предмету. Венцель спорил горячо.

– Когда я, почти мальчиком, поступил в полк, я не думал того, что говорю вам теперь. Я старался действовать словом, я старался приобрести нравственное влияние. Но прошел год, и они вытянули из меня все жилы. Все, что осталось от так называемых хороших книжек, столкнувшись с действительностью, оказалось сентиментальным вздором. И теперь я думаю, что единственный способ быть понятным – вот!

Он сделал какой-то жест рукою. Было так темно, что я не понял его.

– Что ж это, Петр Николаич?

– Кулак! – отрезал он. – Прощайте, однако, пора спать.

Я сделал ему под козырек и побрел к своей палатке. Мне было и больно и противно.

В палатке, казалось, уже все спали; но минуты через две после того, как я лег, Федоров, спавший рядом со мною, тихо спросил:

– Михайлыч, спите?

– Нет, не сплю.



– С Венцелем ходили?  
– С ним самым.  
– Что ж, он с вами как? Смирный?  
– Ничего, смирный, даже любезен.  
– Ишь ты ведь! Что значит свой брат ба-  
рин! Не то что с нами.

– А что? Разве очень сердит?  
– И-и-и... беда! Трещат скулы во второй  
стрелковой. Зверь!

И он сейчас же уснул, так что в ответ на  
мой следующий вопрос я услышал только его  
ровное и спокойное дыхание. Я завернулся в  
шинель; в голове все спуталось и исчезло в  
крепком сне.

### III

За дождями наступили жары. Около этого  
времени мы вышли с проселка, где ноги вяз-  
ли в расползавшейся почве, на большое шос-  
се, ведущее из Ясс в Бухарест. Первый наш пе-  
реход по шоссе, от Текуча к Берладу, навсегда  
останется в памяти сделавших его. Было  
тридцать пять градусов в тени; переход был  
сорок восемь верст. Было тихо; мелкая извест-  
ковая пыль, поднимаемая тысячами ног, стоя-  
ла над шоссе; она лезла в нос и рот, пудрила

волосы, так что нельзя было разобрать их цвета; смешанная с потом, она покрывала все лица грязью и превратила всех в негров. Почему-то мы шли тогда не в рубахах, а в мундирах. Солнце нагревало черное сукно, невыносимо пекло головы сквозь черные кепи; ноги чувствовали сквозь подошву раскаленный щебень шоссе. Люди задыхались. На беду, колодцы были редки и в большей части их было так мало воды, что голова нашей колонны (шла целая дивизия) вычерпывала всю воду, и нам, после страшной давки и толкотни у колодцев, доставалась только глинистая жидкость, скорее грязь, чем вода. Когда не хватало и ее, люди падали. В этот день в одном нашем батальоне упало на дороге около девяноста человек. Трое умерло от солнечного удара.

Я выносил эту пытку сравнительно с другими легко. Может быть, потому, что наш полк был набран большею частью из северян, а я с детства привык к степным жарам; а может быть, тут действовала и иная причина. Мне случалось заметить, что простые солдаты вообще принимают физические страдания ближе к сердцу, чем солдаты из так называ-

емых привилегированных классов (говорю только о тех, кто пошел на войну по собственному желанию). Для них, простых солдат, физические беды были настоящим горем, способным наводить тоску и вообще мучить душу. Те же люди, которые шли на войну сознательно, хотя физически страдали, конечно, не меньше, а больше солдат из простых людей, – вследствие изнеженного воспитания, сравнительной телесной слабости и проч., – но душевно были спокойнее. Душевный мир их не мог быть нарушен избитыми в кровь ногами, невыносимым жаром и смертельной усталостью. Никогда не было во мне такого полного душевного спокойствия, мира с самим собой и кроткого отношения к жизни, как тогда, когда я испытывал эти невзгоды и шел под пули убивать людей. Дико и странно может показаться все это, но я пишу одну правду.

Как бы то ни было, когда другие падали на дороге, я все-таки еще помнил себя. В Текуче я запасся огромною тыквенною кубышкой, в которую входило по крайней мере бутылки четыре. Дорогой мне пришлось не раз наполнять ее водой;

половину этой воды я выливал в себя, другую раздавал соседям. Идет человек, перемогается, но жара берет свое: ноги начинают подгибаться, тело качается, как у пьяного; сквозь слой грязи и пыли видно, как багровеет лицо, рука судорожно стискивает винтовку. Глоток воды оживляет его на несколько минут, но в конце концов человек без памяти валится на пыльную и жесткую дорогу. «Дневальный!» – кричат хриплые голоса. Обязанность дневального – оттащить упавшего в сторону и помочь ему; но и сам дневальный почти в таком же состоянии. Канавы по сторонам шоссе усеяны лежащими людьми... Федоров и Житков идут рядом со мною и хотя видимо страдают, но крепятся. Жара произвела на них действие сообразно с их характерами, но только в обратную сторону: Федоров молчит и только иногда тяжело вздыхает, жалобно поглядывая своими прекрасными, а теперь воспаленными от пыли глазами; дядя Житков ругается и резонерствует.

– Ишь, валится... Штыком заденешь, черт! – сердито кричит он, отклоняясь от штыка упавшего солдата, который чуть не попал

ему острием в глаз. – Господи! Царица Небесная! За что ты на нас посылаешь? Кабы не живодер этот, и сам бы, кажись, упал.

– Кто живодер, дядя? – спрашиваю я.

– Немцев, штабс-капитан. Нонче он дежурный; сзади идет. Лучше идти, а то так отработает... Места живого не оставит.

Я знал уже, что солдаты переделали фамилию «Венцель» в «Немцев». Выходило и похоже и по-русски.

Я вышел из рядов. В сторонке от шоссе идти было немного легче: не было такой пыли и толкотни. Сторонкой шли многие; в этот несчастный день никто не заботился о сохранении правильного строя. Понемногу я отстал от своей роты и очутился в хвосте колонны.

Венцель, измученный, задыхающийся, но возбужденный, догнал меня.

– Каково? – спросил он осипшим голосом. – Пройдемтесь стороною. Я совершенно измучен.

– Хотите воды?

Он жадно выпил несколько больших глотков из моей кубышки.

– Благодарю. Легче стало. Ну, денек!

Несколько времени мы шли рядом молча.

– Кстати, – сказал он, – вы так и не перебрались к Ивану Платонычу?

– Нет, не перебрался.

– Глупо. Извините за откровенность. До свиданья; мне надо в хвост колонны. Что-то уж очень много этих нежных созданий падает.

Пройдя несколько шагов и повернув голову назад, я увидел, что Венцель наклонился над упавшим солдатом и тащит его за плечо.

– Вставай, каналья! Вставай!

Я не узнал своего образованного собеседника. Он сыпал грубыми ругательствами без перерыва. Солдат был почти без чувств, но открыл глаза и с безнадежным выражением смотрел на взбешенного офицера. Губы его шептали что-то.

– Вставай! Сейчас же вставай! А! Ты не хочешь? Так вот тебе, вот тебе, вот тебе!

Венцель схватил свою саблю и начал наносить ее железными ножами удар за ударом по измученным ранцем и ружьем плечам несчастного. Я не выдержал и подошел к

нему.

– Петр Николаевич!

– Вставай!.. – Рука с саблею еще раз поднялась для удара.

Я успел крепко схватить ее.

– Бога ради, Петр Николаевич, оставьте его!

Он обернул ко мне разъяренное лицо. С выкатившимися глазами и с судорожно искривленным ртом, он был страшен. Резким движением он вырвал свою руку из моей. Я думал, что он разразится на меня грозой за мою дерзость (схватить офицера за руку действительно было крупною дерзостью), но он сдержал себя.

– Слушайте, Иванов, не делайте этого никогда! Если б на моем месте был какой-нибудь бурбон, вроде Щурова или Тимофеева, вы бы дорого заплатили за вашу шутку. Вы должны помнить, что вы рядовой и что вас за подобные вещи могут без дальних слов расстрелять!

– Все равно. Я не мог видеть и не вступить-ся.

– Это делает честь вашим нежным чув-

ствам. Но прилагаете вы их не в то место. Разве можно иначе с этими... (Его лицо выразило презрение, даже больше, какую-то ненависть.) Из этих десятков свалившихся, как бабы, может быть, только несколько человек действительно изнемогли. Я делаю это не из жестокости – во мне ее нет. Нужно поддерживать спайку, дисциплину. Если б с ними можно было говорить, я бы действовал словом. Слово для них – ничто. Они чувствуют только физическую боль.

*Венцель схватил свою саблю и начал наносить ее железными ножами*

*удар за ударом по измученным ранцем и ружьем плечам несчастного.*

Я не дослушал его и пустился догонять свою уже далеко ушедшую роту. Я догнал Федорова и Житкова, когда наш батальон свели с шоссе на поле и скомандовали остановиться.

– Что это вы, Михайлыч, с штабс-капитаном Венцелем говорили? – спросил Федоров, когда я в изнеможении упал возле него, едва успев поставить ружье.

– Говорил! – пробурчал Житков. – Нешто так говорят? Он его за руку схватил. Эх, барин





Иванов, берегитесь Немцова, не смотрите, что он разговаривать с вами охоч, пропадете вы с ним ни за денежку!

#### IV

Поздно вечером мы добрались до Фокшан, прошли через неосвещенный безмолвный и пыльный городок и вышли куда-то в поле. Не было видно ни зги, кое-как поставили батальоны, и измученные люди уснули как убитые; никто почти не захотел есть приготовленного «обеда». Солдатская еда всегда «обед», случится ли она ранним утром, днем или ночью. Целую ночь подтягивались отсталые. На заре мы опять выступили, утешаясь тем, что через переход будет дневка.

Снова движущиеся ряды; снова ранец давит онемевшие плечи, снова болят истертые и налившиеся кровью ноги. Но первые десять верст почти ничего не сознаешь. Короткий сон не может уничтожить усталости вчерашнего дня, и люди шагают совсем сонные. Мне случалось спать на ходу до такой степени крепко, что, остановившись на привале, я не верил, что мы уже прошли десять верст, и не помнил ни одного места из пройденного пу-

ти. Только когда перед привалом колонны начинают подтягиваться и перестраиваться для остановки, просыпаешься и с радостью думаешь о целом часе отдыха, когда можно развьючиться, вскипятить воду в котелке и полежать на свободе, попивая горячий чай. Как только ружья поставлены и ранцы сняты, большая часть людей принимается собирать топливо – почти всегда сухие стебли прошлогодней кукурузы. В землю втыкаются два штыка; на них кладется шомпол, а на него вешаются два или три котелка. Сухие рыхлые стебли горят ясно и весело; раскладывают их всегда с наветренной стороны; пламя лижет закопченные котелки, и через десять минут вода бьет ключом. Чай бросали прямо в кипяток и давали ему вывариться: получалась крепкая, почти черная жидкость, которую пили большей частью без сахара, так как казна, выдававшая очень много чая (его даже курили, когда не хватало табаку), давала очень мало сахара, и пили в огромном количестве. Котелок, в который входило семь стаканов, составляет обыкновенную порцию для одного.

Может быть, странным покажется, что я

так распространяюсь о мелочах. Но солдатская походная жизнь так тяжела, в ней столько лишений и мучений, впереди так мало надежды на хороший исход, что и какой-нибудь чай или тому подобная маленькая роскошь составляли огромную радость. Нужно было видеть, с какими серьезными и довольными лицами загорелые, грубые и суровые солдаты, молодые и старые, – правда, старше сорока лет между нами почти не было, – точно дети, подкладывали под котелки палочки и стельки, поправляли огонь и советовали друг другу:

– Ты, Лютиков, туды, туды, к краю ее суй! Так!.. пошла, пошла... занялась. Ну, сейчас закипит!

Чай, изредка, в холодную и дождливую погоду, чарка водки да трубка табаку – вот и вся солдатская отрада, не считая, конечно, всеисцеляющего сна, когда можно забыться и от телесных невзгод и от мыслей о темном, страшном будущем. Табак играл не последнюю роль среди этих благ жизни, возбуждая и поддерживая утомленные нервы. Туго набитая трубка обходила человек десять и возвраща-

лась к хозяину, который затягивался в последний раз, выколачивал золу и важно прятал трубку за голенище. Помню, как огорчила меня потеря моей трубки одним из приятелей, которому я дал ее покурить, и как сам он был огорчен и пристыжен. Точно будто он потерял целое врученное ему состояние.

На большом привале (около полудня) мы отдыхали часа полтора-два. После чаепития обыкновенно все засыпало. На бивуаке тишина; только часовой у знамени ходит взад и вперед да не спит кое-кто из офицеров. Лежишь на земле, положив ранец под голову, и не то спишь, не то бодрствуешь; горячее солнце палит лицо и шею, мухи надоедливо кусают и не дают уснуть как следует.

Грезы мешаются с действительностью; так недавно еще жил жизнью, совершенно не похожей на эту, что в полубессознательной дремоте все кажется, что вот-вот проснешься, очнешься дома в привычной обстановке, и исчезнет эта степь, эта голая земля, с колючками вместо травы, это безжалостное солнце и сухой ветер, эта тысяча странно одетых в белые запыленные рубахи людей, эти ружья в

козлах. Все это так похоже на тяжелый, странный сон...

– Встава-а-ть! – протяжно и сурово командует сильным голосом наш маленький бородатый батальонный командир, майор Черноглазов.

И лежащая толпа белых рубах шевелится; кряхтя и потягиваясь, поднимаются люди, надевают сумки и ранцы и выстраиваются в ряды.

– В ружье!

Мы разбираем ружья. До сих пор хорошо помню я свою винтовку № 18635, с прикладом немного темнее, чем у других, и длинной ца-рапиной по темному лаку. Еще команда – и батальон, вытягиваясь, поворачивает на дороге. Впереди всех ведут коня командира, гнедого жеребца Варвара; он выгибает шею, и играет, и бьет копытами; майор садится на него только в крайних случаях, постоянно шагая во главе батальона за своим Варваром ровным шагом настоящего пехотинца. Он показывает солдатам, что и начальство тоже «старается», и солдаты любят его за это. Он всегда хладнокровен и спокоен, никогда не шутит и

не улыбается; подымается утром раньше всех, ложится вечером последним; обращается с людьми твердо и сдержанно, не позволяя себе драться и кричать без толку. Говорят, что если бы не майор, то Венцель не то бы еще делал.

Сегодня жарко, но не так, как вчера. К тому же мы идем уже не по шоссе, а рядом с железной дорогой, по узкому проселку, так что большая часть движется по траве. Пыли нет; набегают тучи: нет-нет да и капнет редкая крупная капля. Мы смотрим на небо, выставив руки, пробуя, не идет ли дождь. Даже вчерашние отсталые приободрились; идти уже недалеко, каких-нибудь десять верст, а там отдых, вождеденный отдых, в котором пройдет не одна короткая ночь, а ночь, целый день и еще ночь. Развеселившимся людям хочется петь; Федоров заливается среди песенников; слышна знаменитая:

*И было дело под Полтавой...*

Пропев, как «вдруг одна злодейка пуля в шляпу царскую впилась», он затягивает бессмысленную и непристойную, но самую попу-

лярную у солдат песню о том, как какая-то Лиза, пойдя в лес, нашла черного жука и что из этого вышло. Затем еще историческая песня про Петра, как его требуют в сенат. И в довершение всего доморощенная песня нашего полка:

*Как приехал белый царь, Алек-  
сандра государь.*

*Вы, ребята, подтянитесь, пред ца-  
рем подбодритесь!*

*Мы приемы отхватали, благодар-  
ность получали.*

*Батальонный командир, Черно-  
глазов господин,*

*Он не спал, не дремал, батальон  
свой обучал,*

*Он на лошади сидел, никого знать  
не хотел.*

И так далее, стихов пятьдесят.

– Федоров! – спросил я однажды. – Зачем вы несете эту чепуху об Лизе? – Я назвал еще несколько песен, нелепых и циничных до такой степени, что самый цинизм их терял всякое значение и являлся в виде совершенно бессмысленных звуков.



– Повелось так, Владимир Михайлыч. Да что! Разве это пенье? Это так, вроде крику для мочиону груди. Ну, и идти веселей.

Устанут песенники, начнут играть музыканты. Под мерный, громкий и большею частью веселый марш идти гораздо легче; все, даже самые утомленные, приосанятся, отчетливо шагают в ногу, сохраняют равнение: батальон узнать нельзя. Помню, однажды мы прошли под музыку больше шести верст в один час, не замечая усталости; но когда измученные музыканты перестали играть, вызванное музыкою возбуждение исчезло, и я почувствовал, что вот-вот упаду, да и упал бы, не случись вовремя остановка на отдых.

Верст через пять после привала нам встретилось препятствие. Мы шли долиною какой-то речки; с одной стороны были горы, с другой – узкая и довольно высокая насыпь железной дороги. Недавно прошедшие дожди затопили долину, образовав на нашем пути большую лужу, сажень в тридцать шириною. Полотно железной дороги возвышалось на ней плотиной, и нам пришлось проходить по нем. Будочник железной дороги пропустил

первый батальон, который благополучно перебрался на ту сторону лужи, но затем объявил, что через пять минут пойдет поезд и что нам нужно ждать. Мы остановились и только что составили ружья, как на повороте дороги показалась знакомая коляска бригадного генерала.

Наш бригадный генерал был человек бравый. Горла, подобного тому, которым он владел, мне никогда не случалось встречать ни на оперных сценах, ни в архиерейских хорах. Раскаты его баса гремели в воздухе подобно трубному звуку, и его крупная, тучная фигура с красной толстой головой, сизыми огромными, развевающимися по ветру бакенбардами, с черными толстыми бровями над маленькими, блестящими, как угли, глазами, когда он, сидя на коне, командовал бригадой, была самая внушительная. Однажды, на Ходынском поле в Москве, во время каких-то военных упражнений, он выказал себя до такой степени воинственным и бравым, что привел в совершенный восторг стоявшего в толпе старого мещанина, который при этом воскликнул:  
– Молодчага! Нам таких и надо!

С тех пор за генералом навсегда утвердилось прозвание «молодчаги».

Он мечтал о подвигах. Несколько томиков по военной истории сопровождали его во весь поход. Любимым разговором его с офицерами была критика наполеоновских кампаний. Об этом я, конечно, знал только по слухам, так как очень редко видывал нашего генерала; большею частью он обгонял нас на середине перехода, в своей коляске, запряженной хорошею тройкою, приезжал на место ночлега, занимал квартиру и оставался там до позднего утра, а днем снова обгонял нас, причем солдаты всегда обращали внимание на степень багровости его лица и большую или меньшую хриплость, с какою он оглушительно кричал нам:

– Здорово, старобельцы!

– Здравия желаем, ваше превосходительство! – отвечали солдаты и при этом прибавляли: – Опохмеляться едет молодчага!

И генерал проезжал дальше, иногда без всяких последствий, а иногда задав громopodobную головомойку какому-нибудь ротному командиру.

Завидев остановившийся батальон, генерал подлетел к нам и выскочил из коляски так скоро, как только позволяла ему его тучность. Майор быстро подошел к нему.

– Что такое? Почему остановились? Кто позволил?

– Ваше превосходительство, залило дорогу, а по полотну сейчас должен пройти поезд.

– Залило дорогу? Поезд? Вздор! Вы приучаете солдат нежничать! Вы делаете из них баб! Без приказанья не останавливаться! Я вас, милостивый государь, под арест...

– Ваше превосходительство...

– Не рассуждать!

Генерал грозно повел глазами и обратил свое внимание на другую жертву.

– Это что такое? Почему командир второй стрелковой роты не на месте? Штабс-капитан Венцель, пожалуйста сюда!

Венцель подошел. На него полился поток генеральского гнева. Я слышал, как он пробовал что-то ответить, возвысив голос, но генерал заглушил его, и можно было только догадаться, что Венцель сказал что-то непочтительное.

– Рассуждать?! Грубить?! – гремел генерал. – Молчать! Снимите с него саблю. К де-нежному ящику, под арест! Пример людям... Струсили лужи! Ребята, за мной! По-суворовски!

Генерал быстро прошел мимо батальона к воде неловкою походкой человека, долго ехавшего в экипаже.

– За мной, ребята! По-суворовски! – повторил он и пошел в своих лакированных ботфортах в воду.

Майор с злобным выражением в лице оглянулся назад и пошел рядом с генералом. Батальон тронулся за ними. Воды сначала было по колено, потом по пояс, потом еще выше, высокий генерал шел свободно, но маленький майор уже барахтался руками. Солдаты, точно гурьба овец во время перегона через реку, толкались; вязли в размокшем дне, вырывая ноги, метались из стороны в сторону. Ротные командиры и батальонный адъютант, ехавшие верхом, которым можно было бы весьма удобно переехать через лужу, видя перед собой пример генерала, подъезжали к ней, спешивались и, ведя лошадей на поводу,

вступали в грязную, взбудораженную сотнями солдатских ног воду. Наша рота, состоявшая из самых высоких в батальоне людей, переходила довольно удобно, но шедшая рядом с нами малорослая восьмая рота, где были все люди двух – четырех вершков, едва брела по уши в воде; некоторые даже захлебывались и хватались за нас. Маленький солдатик-цыган, с побледневшим лицом и широко раскрытыми черными глазами, ухватил дядю Житкова за шею обеими руками, бросив свое ружье; к счастью для цыгана, кто-то подхватил на лету казенное оружие и спас его от потопления. Сажень через десять лужа стала мельче, и все уже в безопасности спешили поскорее выбраться, толкались и ругались. У нас многие смеялись; солдатам восьмой роты было не до смеха: лица у многих посинели не от одного холода. Сзади напирали стрелки.

– Ну, карапузы, выбирайся! Потопли! – кричали они.

– Очень просто, что потонуть можно, – отзывались в восьмой роте. – Ему хорошо идти; ишь, только баки свои замочил. Ерой выискался! Тут народ перетопить можно.

– А ты бы ко мне в котелок сел. Сухоньким бы доставил.

– То-то и есть, братец, что не в догадку было, – благодушно отвечал на насмешку маленький солдатик.

Виновник всей этой суматохи, уже успевший вытащить ноги из вязкого дна и выйти из воды, величественно стоял на берегу, смотря на барахтавшуюся в воде массу людей. Он промок до последней нитки и действительно замочил себе и длинные баки. Вода текла по его одежде; полные воды лакированные голенища раздулись, а он все кричал, поощряя солдат:

– Вперед, ребята! По-суворовски!

Мокрые офицеры с мрачными лицами толпились вокруг него. Тут стоял и Венцель с искаженным лицом и уже без сабли. Между тем генеральский кучер, походив у берега и посавав в воду кнутовищем, сел на козлы и благополучно переехал через воду немного в стороне от того места, где перешли мы; воды едва хватало по оси коляски.

– Вот где, ваше превосходительство, переходить нужно было, – спокойно сказал май-

ор. – Прикажете людям обсушиться?

– Конечно, конечно, Сергей Николаич, – мирно ответил генерал. Холодная вода охладила его пыл.

Он влез в коляску, сначала сел, потом опять встал и закричал во всю мочь своего богатырского голоса:

– Спасибо, старобельцы! Молодцами!

– Рады стараться, ваше превосходительство! – нестройно грянули солдаты.

И мокрый генерал уехал вперед.

Солнце стояло еще высоко; идти оставалось только пять верст; майор сделал большой привал. Мы разделись, развели костры, обсушили платье, сапоги, ранцы, сумки, часа через два тронулись в путь, уже со смехом вспоминая купанье.

– А Венцеля-то молодчага под арест отправил! – сказал между прочим Федоров.

– Ничего, пуцай его за денежным ящиком денька два походит, – отвечали сзади из стрелковой роты.

– Тебе-то что?

– Мне-то? Не то что мне, а всей роте легче. Хоть на два дня отдохнем. Мочи от него нет –



ВОТ МНЕ ЧТО.

– Терпи, казак, атаманом будешь.

– Терпеть надо, а атаманами-то уж разве на том свете будем, – проговорил Житков, по обыкновению, мрачным голосом. – Ежели турка подстрелит.

– А вы, дяденька, в отчаянность не впадайте. Вы то подумайте: вот мы с вами обсушились, сухонькие идем, а молодчага-то сырой катит, – сказал Федоров, и кругом все рассмеялись.

## V

Мы шли всё рядом с железной дорогой; поезда, наполненные людьми, лошадьми и припасами, постоянно обгоняли нас. Солдаты с завистью смотрели на проносившиеся мимо нас товарные вагоны, из открытых дверей которых выглядывали лошадиные морды.

– Ишь ты, лошадям честь какая! А мы иди!

– Лошадь глупа, она с тела спадет, – резонерствовал на это Василий Карпыч. – А ты на то человек есть, чтобы себя соблюсти как следует.

Однажды на привале к начальству прискакал казак с важным известием. Нас подняли

и выстроили без ранцев и без оружия, в одних белых рубашках. Никто из нас не знал, зачем это делается. Офицеры осмотрели людей; Венцель, по обыкновению, кричал и ругался, дергая за дурно надетые кушаки и с пинками приказывая оправить рубахи. Потом нас повели к полотну железной дороги, и после довольно долгих построений полк вытянулся в две шеренги вдоль пути. На версту протянулась белая линия рубах.

– Ребята! – закричал майор. – Государь император проедет!

И мы начали ждать государя. Наша дивизия была довольно глухая, стоявшая вдали и от Петербурга и от Москвы. Из солдат разве только одна десятая часть видела царя, и все ждали царского поезда с нетерпением. Прошло полчаса; поезд не шел; людям позволили присесть. Начались рассказы и разговоры.

– Остановится? – спросил кто-то.

– Держи карман! Для каждого полка останавливаться! Поглядит на нас из окошечка, и то ладно.

– И не разберем, братцы, который: генералов-то с ним много едет.

– Я-то разберу. Я его на Ходынке в позапрошедшем году вот как видел.

И солдат протянул руку, чтобы показать, как близко он видел государя.

Наконец, после двухчасового ожидания, вдали показался дымок. Полк встал и выровнялся. Сначала прошел поезд с прислугою и кухнею. Повара и поваренки в белых колпаках выглядывали на нас из окон и чему-то смеялись. Саженьях в двухстах шел царский поезд; машинист, видя выстроившийся полк, убавил хода, и вагоны, медленно громыхая, проходили перед глазами, жадно смотревшими на окна. Но все они были завешены: казак и офицер, стоявшие на площадке заднего вагона, были единственные люди на поезде, которых мы увидели. Мы посмотрели на уходивший быстрее и быстрее поезд, постояли еще минуты три и пошли на бивуак. Солдаты были разочарованы и выражали огорчение.

– В кои-то веки теперь его увидим!

Но мы увидели его скоро. Перед Плоешти нам сказали, что в этом городе нас будет смотреть государь.

Мы проходили перед ним, как были с похо-

да, в тех же грязных белых рубашках и штанах, в тех же побуревших и запыленных сапогах, с теми же безобразно навьюченными ранцами, сухарными сумками и бутылками на веревочках. Солдат не имел в себе ничего щегольского, молодецкого или геройского; каждый был больше похож на простого мужика, только ружье да сумка с патронами показывали, что этот мужик собрался на войну. Нас построили в узкую колонну по четыре человека в шеренге: иначе нельзя было идти по узким улицам города. Я шел сбоку, старался больше всего не сбиться с ноги, держать равнение и думал о том, что если государь со своей свитой будет стоять с моей стороны, то мне придется пройти перед его глазами и очень близко от него.

Только взглянув на шедшего рядом со мною Житкова, на его лицо, как и всегда, суровое и мрачное, но взволнованное, я почувствовал, что и мне передается часть общего волнения, что сердце у меня забилося сильнее. И мне вдруг показалось, что от того, как посмотрит на нас государь, зависит для нас все. Когда мне впоследствии пришлось идти в первый раз под пули, я испытал чувство,

близкое к этому.

Люди шли быстрее и быстрее; шаг становился больше, походка свободнее и тверже. Мне не нужно было приноравливаться к общему такту: усталость прошла. Точно крылья выросли и несли вперед, туда, где уже гремела музыка и раздавалось оглушительное «ура!». Не помню улиц, по которым мы шли, не помню, был ли народ на этих улицах, смотрел ли на нас; помню только волнение, охватившее душу, вместе с сознанием страшной силы массы, к которой принадлежал и которая увлекала тебя. Чувствовалось, что для этой массы нет ничего невозможного, что поток, с которым вместе я стремился и которого часть я составлял, не может знать препятствий, что он все сломит, все исковеркает и все уничтожит. И всякий думал, что тот, перед которым проносился этот поток, может одним словом, одним движением руки изменить его направление, вернуть назад или снова бросить на страшные преграды, и всякий хотел найти в слове этого одного и в движении его руки неведомое, что вело нас на смерть. «Ты ведешь нас, – думал каждый, – те-

бе мы отдаем свою жизнь; смотри на нас и будь покоен: мы готовы умереть».

И он знал, что мы готовы умереть. Он видел страшные, твердые в своем стремлении ряды людей, почти бегом проходивших перед ним, людей своей бедной страны, бедно одетых, грубых солдат. Он чувал, что все они шли на смерть, спокойные и свободные от ответственности. Он сидел на сером коне, недвижно стоявшем и насторожившем уши на музыке и бешеные крики восторга. Вокруг была пышная свита, но я не помню никого из этого блистательного отряда всадников, кроме одного человека на сером коне, в простом мундире и белой фуражке. Я помню бледное, истомленное лицо, истомленное сознанием тяжести взятого решения. Я помню, как по его лицу градом катились слезы, падавшие на темное сукно мундира светлыми, блестящими каплями; помню судорожное движение руки, державшей повод, и дрожащие губы, говорящие что-то, должно быть приветствие тысячам молодых погибающих жизней, о которых он плакал. Все это явилось и исчезло, как освещенное на мгновение молнией, когда

я, задыхаясь не от бега, а от нечеловеческого, яростного восторга, пробежал мимо него, подняв высоко винтовку одной рукой, а другой – махая над головой шапкой и крича оглушительное, но от общего вопля не слышное самому мне «ура!».

Все это промелькнуло и исчезло. Пыльные улицы, залитые палящим зноем; измученные возбуждением и почти беглым шагом на пространстве целой версты солдаты, изнемогающие от жажды; крик офицеров, требующих, чтобы все шли в строю и в ногу, – вот все, что я видел и слышал пять минут спустя. И когда мы прошли еще версты две душным городом и пришли на выгон, отведенный нам под бивуак, я бросился на землю, совершенно разбитый и телом и душою.

## VI

Трудные переходы, пыль, жара, усталость, сбитые до крови ноги, коротенькие отдыхи днем, мертвый сон ночью, ненавистный рожок, будящий чуть свет. И всё поля, поля, не похожие на родные, покрытые высокою зеленою, громко шелестящею длинными шелковистыми листьями кукурузой или тучной

пшеницей, уже начинавшей кое-где желтеть.

Те же лица, та же полковая походная жизнь, те же разговоры и рассказы о доме, о стоянке в губернском городе, пересуды об офицерах.

О будущем говорили редко и неохотно. Зачем шли на войну – знали смутно, несмотря на то, что целые полгода простояли недалеко от Кишинева, готовые к походу; в это время можно было бы объяснить людям значение готовящейся войны, но, должно быть, это не считалось нужным. Помню, раз спросил меня солдат:

– А что, Владимир Михайлыч, скоро ли в бухарскую землю придем?

Я подумал сначала, что ослышался, но когда он повторил вопрос, ответил, что бухарская земля за двумя морями, что до нее тысячи четыре верст и что вряд ли мы когда-нибудь попадем туда.

– Нет, Михайлыч, вы не так теперь говорите. Мне писарь сказывал. Перейдем, говорит, через Дунай, тут сейчас и будет бухарская земля.

– Так не бухарская – болгарская! – восклик-



нул я.

– Ну, бургарская, бухарская, как там ее по-вашему; не все одно, что ли?

И он замолчал, видимо недовольный.

Знали мы только, что турку бить идем, потому что он много крови пролил. И хотели побить турку, но не столько за эту, неизвестно чью пролитую кровь, сколько за то, что он потревожил такое множество народа, что из-за него пришлось испытывать трудный поход («которую тысячу верст до него, поганого, тащимся!»), билетным солдатам побросать дома и семьи, а всем вместе идти куда-то под пули и ядра. Турка представлялся бунтовщиком, зачинщиком, которого нужно усмирить и покорить.

Гораздо больше, чем войной, мы занимались своими семейными – полковыми, батальонными и ротными – делами. В нашей роте все было тихо и спокойно; у стрелков дела шли хуже и хуже. Венцель не унимался; скрытое негодование росло, и после одного случая, которого и теперь, через пять лет, я не могу вспомнить без тяжелого волнения, дошло до настоящей ненависти.

Мы только что прошли какой-то город и вышли на луг, где уже расположился шедший впереди нас первый полк. Местечко было хорошее: с одной стороны река, с другой – старая чистая дубовая роща, вероятно место гулянья для жителей города. Был хороший теплый вечер; солнце садилось. Полк стал; составили ружья. Мы с Житковым начали натягивать палатку; поставили столбики; я держал один край полы, а Житков палкой забивал колышек.

– Туже, туже держи, Михайлыч! (Он уже несколько дней тому назад начал говорить мне «ты».) Вот так, так.

Но в это время сзади слышались какие-то странные мерные, плескающие звуки. Я обернулся.

Стрелки стояли во фронте. Венцель, что-то хрипло крича, бил по лицу одного солдата. С помертвелым лицом, держа ружье у ноги и не смея уклоняться от ударов, солдат дрожал всем телом. Венцель изгибался своим худым и небольшим станом от собственных ударов, нанося их обеими руками, то с правой, то с левой стороны. Кругом все молчали; только и

было слышно плесканье да хриплое бормотанье разъяренного командира. У меня потемнело в глазах, я сделал движение. Житков понял его и изо всех сил дернул за полотнище.

– Держи, черт безрукий! – закричал он и выругал меня самыми скверными словами. – Отсохли, что ли, руки-то? Куда смотришь? Чего не видал?

Удары сыпались. По верхней губе и подбородку солдата текла кровь. Наконец он упал. Венцель отвернулся, окинул глазами всю роту и закричал:

– Если еще кто-нибудь посмеет курить во фронте, хуже изобью каналью. Поднять его, обмыть рожу и положить в палатку. Пусть отлежится. Составь! – скомандовал он роте.

Руки у него тряслись, были красны, пухлы и в крови. Он вынул платок, вытер руки и пошел прочь от составлявших ружья в козлы и тяжело молчавших солдат. Несколько человек, глухо переговариваясь, возились около избитого и поднимали его. Венцель шел нервной, измученной походкой; он был бледен, глаза его блистали; по игравшим мускулам видно было, как он стискивал зубы. Он про-

шел мимо нас и, встретив мой упорный взгляд, неестественно насмешливо улыбнулся одними тонкими губами и, прошептав что-то, пошел дальше.

– Кровопивец! – с ненавистью в голосе сказал Житков. – А ты, барин, тоже!.. Чего лезть? Под расстрел угодить хочешь? Погоди, найдут и на него управу.

– Жаловаться пойдут? – спросил я. – Кому?

– Нет, не жаловаться. В действии тоже будем...

И он проворчал что-то, почти про себя. Я боялся понять его. Федоров, уже успевший потолкаться между стрелками и расспросить, в чем дело, вернулся к нам.

– Ни за что людей терзает, – сказал он. – Как шли на походе, солдатик этот, Матюшкин, сигарку курил. Стали – он ружье взял к ноге, а сигарка между пальцами; забыл, видно, на свою голову. Венцель и доглядел. Зверь! – добавил он печально, укладываясь под готовую уже палатку. – И сигарка-то уж потухла; видно, что забыл, бедняга!

Через несколько дней мы пришли в Александрию, где собралось очень много войск.

Еще сходя с высокой горы, мы видели огромное пространство, пестревшее белыми палатками, черными фигурами людей, длинными коновязями и блестящими кое-где рядами медных пушек и зеленых лафетов и ящичков. По улице города ходили целые толпы офицеров и солдат.

Из открытых окон тесных и грязных гостиниц слышалась заунывная и удалая венгерская музыка, звон посуды и шумные разговоры; лавки были набиты русскими покупателями. Не понимающие друг друга наши солдаты, румыны, немцы и жида громко кричали; спор из-за курса бумажного рубля слышался на каждом шагу.

– Ты что мне доу галаган,[7] черномазый черт? Гривенник давай! Эй ты, домнул![8]

– Унде эште пошта?[9] – преувеличенно вежливо, прикладывая руку к козырьку кепи, спрашивает щеголя румына офицер, вооруженный «военным переводчиком» – книжкой, которою тогда были снабжены войска. Румын объясняет ему; офицер перелистывает книжку, ища непонятных слов, и ничего не понимает, но вежливо благодарит.

– Тьфу, братцы, что за народ! И попы наши, и церкви наши, а понятия ни к чему у них нет! Руп серебряный хошь? – кричит что есть мочи солдат с рубахой в руках румыну, торгующему в открытой лавке. – За рубаху! Патру франку? Четыре франка?

Он вынимает монету, показывает ее, и дело кончается к общему удовольствию.

– Сторонись, сторонись, земляки, генерал идет!

Высокий молодой генерал, в щегольском сюртуке, высоких сапогах и с нагайкой на ремне через плечо, быстро проходит по улице. За ним в нескольких шагах идет ординарец, маленький азиат в цветном халате и чалме, с огромной шашкой и револьвером у пояса. Генерал, высоко держа голову и равнодушно-весело смотря на расступаящихся и отдающих честь солдат, проходит в гостиницу. Здесь, в уголку, приютились и мы с Ивановом Платонычем и Стебельковым, поглощая какое-то местное кушанье, состоящее из красного перца с мясом. Ободранная комната, уставленная столиками, полна народа. Звон посуды, хлопанье пробок, трезвые и пьяные

голоса – все покрывается оркестром, приютившимся в чем-то вроде ниши, украшенной кумачными занавесками. Музыкантов пятеро: две скрипки пилят с остервенением, виолончель вторит однообразными густыми нотами, контрабас ревет, но все эти инструменты составляют только фон для пятого. Черномазый кудрявый венгерец, почти мальчик, сидит впереди всех, за широкий воротник бархатной куртки у него всунут странный инструмент, древняя цевница, точно такая, с какою рисуют Пана и фавнов. Это ряд неравных деревянных трубочек, сложенных вместе так, что открытые концы их приходятся против губ артиста. Венгерец, вертя головой то в ту, то в другую сторону, дует в эти трубки и извлекает сильные мелодические звуки, не похожие ни на флейту, ни на кларнет. Самые хитрые и трудные пассажи проделывает он, трясая и вертя головой; черные жирные волосы прыгают на его голове и падают на лоб; лицо потно и красно, на шее надулись жилы. Видно было, что ему нелегко... На нестройном фоне струнных инструментов звуки цевницы вырисовывались резко, отчет-

ливо и дико-красиво.

Генерал занял место за столом знакомых ему офицеров, поклонился всем вставшим при его приходе и громко сказал: «Садитесь, господа!» – что относилось к нижним чинам. Мы молча кончили обед; Иван Платоныч приказал подать красного румынского вина и после второй бутылки, когда лицо у него повеселело и щеки и нос приняли яркий оттенок, обратился ко мне:

– Вы, юноша, скажите мне... Помните, большой переход был?

– Помню, Иван Платоныч.

– Вы тогда с Венцелем говорили?

– Говорил.

– Вы схватили его за руку? – спросил капитан неестественно серьезным тоном. И когда я ответил, что действительно схватил, испустил продолжительный и шумный вздох и беспокойно замигал глазами.

– Скверно вы сделали... Глупо вы сделали! Видите ли, я не выговор хочу вам делать. Вы сделали прекрасно... то есть противно дисциплине... Черт знает что я несу! Вы меня извините...



Он замолчал, смотря в пол и отдуваясь. Я тоже молчал. Иван Платоныч отхлебнул пол-стакана и хлопнул меня по коленке.

– Дайте мне обещание, что больше не делаете такой выходки. Я понимаю сам... Свежему человеку трудно. Ну что же вы с ним делаете? Этакая бешеная собака этот Венцель! Ну, видите ли...

Иван Платоныч, видимо, не находил слов и, сделав долгую паузу, снова прибег к стакану.

– То есть, видите ли... он хороший человек, в сущности. Это у него блажь какая-то, черт его знает. Вы сами видели, я тоже недавно ткнул солдата. Легонько. Ну, если дурак не понимает своей собственной пакости, знаете, дерево этакое... Но ведь я, Владимир Михайлыч, как отец. Ей-богу, без злобы, хоть и распалишься иногда. А тот – в систему возвел. Эй, ты! – крикнул он румыну-лакею, – *оште вин негру!* Еще вина! И когда-нибудь под суд попадет; а то еще хуже будет: обозлятся люди и в первом же деле... Жаль будет, потому что все-таки человек, знаете, хороший. И даже теплый человек.

– Ну! – протянул Стебельков. – Какой теплый человек будет так драться!

– Вы посмотрели бы, Иван Платоныч, что ваш теплый человек недавно наделал.

И я рассказал капитану, как Венцель избил солдата за сигарку.

– Ну, вот, вот... всегда так! – Иван Платоныч краснел, пыхтел, останавливался и снова начинал говорить. – Но все-таки он не зверь. У кого люди лучше всех накормлены? У Венцеля. У кого лучше выучены? У Венцеля. У кого почти нет штрафованных? Кто никогда не отдаст под суд – разве уж очень крупную пакость солдат сделает? Все он же. Право, если бы не эта несчастная слабость, его солдаты на руках бы носили.

– Говорили вы с ним об этом, Иван Платоныч?

– Говорил и ссорился десять раз. Что с ним поделаешь! «Или, говорит, войско, или милиция». Фразы все какие-то глупые выдумывает. «Война, говорит, такая жестокость, что если я жесток с солдатами, то это капля в море... Они, говорит, стоят на такой низкой степени развития...» Одним словом, черт знает что та-

кое! А между тем прекрасный человек. Не пьет, в картишки не играет, дело ведет добросовестно, старику отцу и сестре помогает, товарищ прекрасный! И образованный человек! Другого такого в полку нет. И попомните мое слово: или под суд попадет, или те (он кивнул головой к окну) рассудят. Скверно. Так-то, любезнейший мой рядовой.

Иван Платоныч ласково потрепал меня по погону; потом полез в карман, достал табачницу и начал свертывать толстейшую папиросу. Вложив ее в огромный мундштук с янтарем и надписью чернью по серебру: «Кавказ», а мундштук в рот, он молча сунул табачницу мне. Мы закурили все трое, и капитан начал снова:

– Иногда, точно, бывает: нельзя не потрепать. Ведь они вроде детей. Балунова знаете?

Стебельков вдруг расхохотался.

– Ну, ну, чего, Стебелек! – проворчал Иван Платоныч. – Старый солдат, штрафованный. Он двадцатый год служит: все за разные провинности не отпускают. Ну, так вот он, шельма... Вас еще не было тогда: перед Кишиневом раз выходили мы из деревни. Приказало на-

чалство осмотреть у всех вторые пары сапог. Выстроил я их, хожу сзади и смотрю, торчат ли из ранцев головки. У Балунова нет. «Где сапоги?» – «В ранец для сохранения вложил, ваше благородие». – «Врешь!» – «Никак нет, ваше благородие: чтоб не мокли, в ранце находятся!» Бойко так отвечает, бестия. «Снимай ранец, расстегивай». Вижу, не расстегивает и тащит голенищи из-под крышки. «Расстегивай!» – «Я, ваше благородие, и так выну». Однако заставил я его расстегнуть. Что ж вы думаете? Тащит из ранца за уши поросенка живого! И рыльце веревочкой завязано, чтобы не визжал! Правой рукой под козырек, рожу такую почтительную скорчил, а левой поросенка держит. Стащил, подлец, у молдаванки. Ну, конечно, я его тут легонько ткнул!

Стебельков покатывался от хохота и едва выговорил:

– Да чем!.. Ткнул-то, Иванов, поросенком. Ох-хо-хо!.. Выхватил поросенка, да им!..

– Неужели без этого нельзя обойтись, Иван Платоныч?

– Ах, вы! Досадно, право, слушать. Не под суд же мне его было отдавать!

## VII

Ночью с 14 на 15 июня Федоров разбудил меня.

– Михайлыч, слышите?

– Что такое?

– Пальба. Дунай переходят.

Я начал прислушиваться. Дул сильный ветер, гнавший низкие черные тучи, заслонявшие месяц; он налетал на полотно, с шумом шлепал его, гудел в веревках и тонко высвистывал где-то в ружейных козлах. Сквозь эти звуки иногда слышались глухие удары.

– Народу-то теперь что валится... – вздохнув, прошептал Федоров. – Нас поведут или нет? Как полагаете? Ухает-то как! Будто гром!

– Может быть, и в самом деле гроза?

– Нет! Какая гроза! Очень уж правильно. Слышите? Одна за одной, одна за одной.

Удары действительно раздавались правильно, через известные промежутки времени. Я вылез из-под палатки и стал смотреть по направлению выстрелов. Вспышек огня не было видно. Иногда напряженным глазам мерещился свет в той стороне, откуда гремели пушки, но это только обман.

«Вот оно наконец!» – подумалось мне.

И я старался представить себе, что делается там, в темноте. Мне чудилась широкая черная река с обрывистыми берегами, совершенно не похожая на настоящий Дунай, каким я его увидел потом. Плывут сотни лодок; эти мерные частые выстрелы – по ним. Много ли уцелеет их? Холодная дрожь пробежала у меня по телу. «Хотел бы ты быть там?» – невольно спросил я сам себя.

Я посмотрел на спящий лагерь; все было спокойно; между далеким громом орудий и шумом ветра слышалось мирное храпение людей. И страстно захотелось мне вдруг, чтобы всего *этого* не было, чтобы поход протянулся еще, чтобы этим спокойно спящим, а вместе с ними и мне не пришлось идти туда, откуда гремели выстрелы.

Иногда канонада становилась сильнее; иногда мне смутно слышался менее громкий, глухой шум. «Это стреляют ружейными залпами», – думал я, не зная, что до Дуная еще двадцать верст и что болезненно настроенный слух сам создавал эти глухие звуки. Но, хотя и мнимые, они все-таки заставляли вооб-

ражение работать и рисовать страшные картины. Чудились крики и стоны, представлялись тысячи валящихся людей, отчаянное хриплое «ура!», атака в штыки, резня. А если отобьют и все это даром?

Темный восток посерел; ветер стал утихать. Тучи разошлись; умирающие звезды виднелись кое-где на побледневшем зеленоватом небе. Начало светать; в лагере кое-кто проснулся, и услышавшие звуки сражения будили других. Говорили мало и тихо. Неизвестность близко подошла к людям: никто не знал, что будет завтра, и не хотел ни думать, ни говорить об этом завтрашнем дне.

Я заснул на рассвете и проснулся довольно поздно. Пушки продолжали глухо греметь, и хотя никаких известий с Дуная не было, между нами ходили слухи, один другого невероятнее. Одни говорили, что наши уже перешли и гонят турок, другие – что переправа не удалась, что уничтожены целые полки.

– Которых потопили, которых перестреляли, – заговорил кто-то.

– А ты ври больше, – оборвал его Василий Карпыч.

– Зачем мне врать, ежели правда.

– Правда! Тебе кто сказал?

– Чего?

– Правду-то? Откедова слышал? Мы все знаем: пальба идет, и больше ничего.

– Все говорят. К генералу казак...

– Казак! Ты видел казака-то? Какой он из себя есть, казак-то твой?...

– Казак, обыкновенно... какой казак должен быть.

– То-то, должен! Язык-то у тебя – бабья баблаболка. Сидел бы да молчал. Никого не было, неоткуда и знать.

Я пошел к Ивану Платонычу. Офицеры сидели совсем готовые, застегнутые и с револьверами на поясе. Иван Платоныч был, как и всегда, красен, пыхтел, отдувался и вытирал шею грязным платком. Стебельков волновался, сиял и для чего-то нафабрил свои прежде висевшие вниз усики, так что они торчали острыми кончиками.

– Вот прапорщик-то наш! Расфрантился перед делом, – сказал Иван Платоныч, подмигивая на него. – Ах, Стебелечек, Стебелечек! Жаль мне тебя! Не будет у нас в собрании та-



ких усиков! Сломают тебя, Стебелечек, – говорил капитан шутливо-жалобным тоном. – Ну, что, не трусишь?

– Постараюсь не струсить, – бодрым голосом сказал Стебельков.

– Ну, а вам, воитель, страшно?

– Сам не знаю, Иван Платоныч... Оттуда ничего не слышно?

– Ничего. Господь знает, что там делается. – Иван Платоныч тяжело вздохнул. – В час выступаем, – добавил он, помолчав.

Пола палатки откинулась; адъютант Лукин просунул свое лицо, на этот раз серьезное и бледное.

– Вы здесь, Иванов? Приказано привести вас к присяге... Не сейчас, когда будем выступать. Иван Платоныч! Пятую пачку патронов людям.

Он отказался войти посидеть, говоря, что много дела, и побежал куда-то. Я тоже вышел.

Часам к двенадцати поспел обед. Люди ели плохо. После обеда приказали снять надульники (кожаные чехольчики) с ружей и роздали добавочные патроны. Солдаты, готовясь к бою, начали осматривать свои ранцы и вы-

брасывать все лишнее. Бросали порванные рубахи и штаны, разные тряпки, старые сапоги, щетки, засаленные солдатские книжки; некоторые, как оказалось, донесли до Дуная в ранцах множество ненужных вещей. Я видел на земле брошенный «щелкун», то есть деревянную чурку, которую в мирное время перед парадами и смотрами разглаживают ремни амуниции, тяжелые каменные банки из-под помады, какие-то коробочки и дощечки и даже целую сапожную колодку.

– Бросай боле, ребята! Все легче в действие идти. Завтра уж не нужно будет.

– Пятьсот верст тащил... и на что мне она? – рассуждал солдат Лютиков, рассматривая какую-то тряпицу. – С собой не унесешь...

Выбрасывать вещи, очищать ранец в тот день вошло в моду. Когда мы сошли с места, на котором стояли, оно представлялось на темном фоне степи правильным четырехугольником, пестрым от множества тряпок и других вещей.

Перед походом, когда полк, уже совсем готовый, стоял и ждал команды, впереди собралось несколько офицеров и наш молоденький

полковой священник. Из фронта вызвали меня и четырех вольноопределяющихся из других батальонов; все поступили в полк на походе. Оставив ружья соседям, мы вышли вперед и стали около знамени; незнакомые мне товарищи были взволнованы, да и у меня сердце билось сильнее, чем всегда.

– Возьмитесь за знамя, – сказал батальонный командир.

Знаменщик наклонил знамя; его ассистенты сняли чехол. Старая, полинявшая зеленая шелковая ткань забилась по ветру. Мы стали вокруг и, держа одной рукой древко, а другую подняв вверх, повторяли слова священника, который читал с листа старинную петровскую военную присягу. Вспомнились мне слова Василия Карпыча на первом переходе. «Где же это?» – думал я. И после долгого перечисления случаев и мест службы его императорского величества: походов, наступлений, авангардий и арриергардий, крепостей, караулов и обозов, я услышал эти слова. «Не щадя живота», – громко повторили все пятеро в один голос, и, глядя на ряды сумрачных, готовых к бою людей, я чувствовал, что это не пу-

стые слова.

Мы вернулись в ряды; полк дрогнул, зашевелился и, вытянувшись в длинную колонну, форсированным шагом пошел к Дунаю. Выстрелы, доносившиеся оттуда, смолкли.

Как сквозь сон помню этот переход; пыль, поднимаемую обгонявшими нас на рысях казачьими полками, широкую степь, спускавшуюся к Дунаю, другой, синевший, берег которого мы увидели верст за пятнадцать; усталость, жару, свалку и драку у встретившегося нам уже под Зимницею колодца; грязный маленький городок, наполненный войсками, каких-то генералов, махавших нам с балкона фуражками и кричавших «ура», на что мы отвечали тем же.

– Перешли! Перешли! – гудели вокруг голова.

– Двести убитых, пятьсот раненых!

## VIII

Уже было темно, когда мы, сойдя с берега, перешли проток Дуная по небольшому мосту и пошли по низкому песчаному острову, еще мокрому от только что спавшей с него воды.

Помню резкий лязг штыков сталкивавшихся в темноте солдат, глухое дребезжание обгонявшей нас артиллерии, черную массу широкой реки, огоньки на другом берегу, куда мы должны были переправиться завтра и где, я думал, завтра же будет новый бой.

«Лучше не думать, а уснуть», – решил я и улегся в пропитанный водой песок.

Солнце было уже высоко, когда я открыл глаза. На песчаном берегу толпились войска, обозы и парки; у самой воды уже успели выкопать батареи и ровики для стрелков; за Дунаем, на крутом берегу, можно было рассмотреть сады и виноградники, в которых копошились наши войска; за ними поднимались все выше и выше возвышенности, резко ограничивая горизонт. Вправо, версты за три от них, белело на холмах своими домами и минаретами Систово. Пароход, с баркой на буксире, перевозил батальон за батальоном на ту сторону. У нашего берега шипел парами маленький миноносный катер.

– С благополучным переходом, Владимир Михайлыч! – весело поздравил меня Федоров.

– И вас также. Да только мы-то ведь еще не

перешли?

– А вот сейчас пароход придет, заберет. Монитор турецкий, говорят, недалеко; вон этот самоварчик на него приготовлен. – Он показал на миноноску. – Побито народа что, Господи! – продолжал он, изменив голос. – Уж возили-возили с той стороны...

И он рассказал мне всем известные подробности систовского боя.

– Теперь наш черед. Перейдем на тот бок – турки навалятся... Ну, все-таки вышла отсрочка: мы-то живы, а вот те... – Он кивнул на стоявшую недалеко кучку солдат и офицеров, столпившихся вокруг невидимого предмета, на который все они смотрели.

– Что это такое?

– Убитых наших оттуда привезли. Подите посмотрите, Михайлыч, страсть-то какая.

Я подошел к кучке. Все, молча и сняв шапки, смотрели на лежавшие рядом на песке тела. Иван Платоныч, Стебельков и Венцель тоже были здесь. Иван Платоныч сердито нахмурился, кряхтел и отдувался; Стебельков с наивным ужасом вытягивал из-за его плеча тонкую шею; Венцель стоял, глубоко задумав-

шись.

Лежавших на песке было двое. Один – рослый, красивый гвардеец Финляндского полка, из сборной гвардейской полуроты, той самой, которая потеряла во время атаки половину людей. Он был ранен в живот и, должно быть, долго мучился до смерти. Тонкий отпечаток чего-то одухотворенного, изящного и нежно-жалобного оставило страдание на его лице. Глаза были закрыты, руки сложены на груди. Сам ли он перед смертью принял это положение, или товарищи позаботились о нем? Его вид не возбуждал ужаса и отвращения, а только бесконечную жалость к погибшей, бывшей ключом жизни.

Иван Платоныч нагнулся к труп и, взяв фуражку, лежавшую около головы, прочел на козырьке: «Иван Журенко, третьей роты».

– Хохол был, бедняга! – тихо сказал он.

И представилась мне родина, жаркий ветер в степи, слобода по оврагу, левады, заросшие вербами, беленькая мазанка с красными ставнями... Кто ждет там тебя?

Другой был армеец Волынского полка. Смерть застала его внезапно. Он бежал, разъ-

яранный, в атаку, задыхаясь от крика; пуля ударила его в переносье, пронзила голову, оставив по себе черную зияющую рану. Так и лежал он с широко раскрытыми, теперь уже застывшими глазами, с открытым ртом и с искривленным яростью посинелым лицом.

– Рассчитались, – сказал Иван Платоныч. – Вчистую. Ничего им больше не нужно.

Он повернулся; солдаты торопливо расступились, чтобы пропустить его. Мы с Стебельковым пошли за ним. Венцель догнал нас.

– Вот, Иванов, – сказал он. – Видели?

– Видел, Петр Николаевич, – отвечал я.

– Что ж вы думали, глядя на них? – сумрачно спросил он.

И во мне вдруг вспыхнула злоба против этого злого человека и желание сказать ему что-нибудь тяжелое.

– Много. И больше всего о том, что они уже не пушечное мясо. Для них уже не нужно спайки и дисциплины; и никто не будет истязать их ради этой спайки. Они не солдаты, не подчиненные! – говорил я дрожащим голосом. – Они – люди!

Венцель блеснул глазами. Звук вылетел из



его горла и прервался: должно быть, он хотел ответить мне, но сдержал себя и на этот раз. Он шел рядом со мной, потупив голову, и через несколько шагов, не смотря на меня, сказал:

– Да, Иванов, вы правы. Они люди... Мертвые люди.

## IX

Нас перевезли через Дунай; несколько дней мы стояли около Систова, ожидая турок; потом войска потянулись в глубь страны. Пошли и мы. Нас долго посылали то туда, то сюда: были мы и около Тырнова и недалеко от Плевны; но прошло три недели, а нам все еще не довелось драться. Наконец мы попали в особый отряд, обязанность которого была – сдерживать наступление большой турецкой армии. Сорок тысяч русских было растянуто на семьдесят верст; около ста тысяч турок стояло против них, и только осторожные действия нашего начальника, не рисковавшего людьми, а довольствовавшегося отпором наступающего неприятеля, да вялость турецкого паши позволили нам исполнить нашу задачу: не дать туркам прорваться и отрезать

нашу главную армию от Дуная.

Нас было мало, линия наша была велика; поэтому нам редко приходилось отдыхать. Мы обошли множество деревень, являясь то там, то здесь, чтобы встретить предполагаемое нападение; мы забирались в такую глушь Болгарии, что нас не находили транспорты с провиантом и нам приходилось голодать, растягивая двухдневную порцию сухарей на пять и более дней. Голодавшие люди молотили незрелую пшеницу палками на растянутых палатках, варили из нее и из кислых лесных яблок отвратительную похлебку без соли (потому что и ее было взять негде) и заболевали от нее. Батальоны таяли, хотя и не были в деле.

В половине июля наша бригада, с несколькими эскадронами кавалерии и двумя батареями пушек, пришла в брошенную жителями, разоренную и полувыжженную турецкую деревню. Наш лагерь раскинулся на высокой, обрывистой горе; деревня была внизу, в глубине долины, по которой извивалась узенькая речка. Крутые, высокие скалы возвышались на другой стороне долины. То была, как

мы думали, турецкая сторона, однако турок близко не было. Мы простояли несколько дней на нашей горе, почти без хлеба, с трудом доставая воду, за которой нужно было спускаться далеко вниз к ключу, бившему внизу из скалы. Мы были совершенно отделены от армии и не знали, что делается на белом свете. Верст за пятнадцать впереди нас казаки содержали разъезды; две или три сотни их были растянуты на двадцать верст. Турок не было и там.

Несмотря на то что мы не могли открыть неприятеля, наш маленький отряд принимал все меры осторожности. Днем и ночью стояла кругом лагеря густая аванпостная цепь. По условиям местности ее линия была очень длинна, и каждый день несколько рот были заняты этой бездеятельной, но очень утомительной службой. Бездействие, почти постоянный голод, неизвестность положения дурно действовали на людей.

Околотки (полковые лазареты) были переполнены; каждый день отправляли ослабевших и измученных лихорадкою и кровавым поносом людей куда-то в дивизионный лаза-

рет. В ротах было налицо от половины до двух третей полного состава. Все были мрачны, и всем хотелось идти в дело. Все-таки это был исход.

Наконец он наступил. От командира казачьей сотни прискакал казак с известием, что турки начали наступать и что он, командир, должен был стянуть своих людей и отступить на пять верст. Потом оказалось, что турки вернулись, не думая продолжать наступление, что нам можно было спокойно оставаться на месте, тем более что нам никто не велел наступать. Но командовавший тогда нами генерал, незадолго до того приехавший из Петербурга, чувствовал то же, что и все люди отряда. А людям было невыносимо сидеть сложа руки или стоять по целым суткам на часах против невидимого и, как все были убеждены, несуществовавшего неприятеля, питаться скверною пищею и ждать своей очереди заболеть. Всем хотелось идти драться. И генерал приказал нападение.

Мы оставили половину отряда в лагере. Положение дел было настолько малоизвестно, что можно было ждать атаки с других сто-

рон. Четырнадцать рот, гусары и четыре пушки после полудня двинулись в поход. Никогда мы не шли так скоро и бодро, кроме того дня, когда проходили перед государем.

Мы шли долиною, проходя одну за другою брошенные турецкие и болгарские деревни. В узких переулках, обнесенных высокими, выше человеческого роста, плетнями, не встречалось ни человека, ни скотины, ни собаки; только куры, клохтая, разлетались от нас по плетням и крышам, да гуси с криком тяжело поднимались на воздух и старались улететь. Из садилов выглядывали ветви, точно облепленные спелыми сливами всевозможных сортов. В последней деревне, за пять верст от того места, где предполагались турки, нам дали полчаса отдыха. В это время полуголодные солдаты натрясли множество слив, наелись и набили ими свои сухарные мешки. Некоторые, правда немногие, позаботились наловить и нарезать кур и гусей, ощипали их и взяли с собой. Мне вспомнилось, как те же солдаты, перед систовской переправой, в ожидании боя, выбрасывали из ранцев все свои вещи, и я сказал об этом Житкову, кото-

рый в это время ощипывал огромного гуся.

– Что ж, Михайлыч, хотя в действии не были, а ждать привыкли. Все сдается, будто так только проходишь. Вничью сыграешь. А ежели и попадешь в действие – запас есть не просит. Ну как не убьют? Закусить-то и есть чем.

– Страшно вам? – невольно спросил я его.

– Да, может, ничего и не будет, – не скоро ответил он, щурясь и старательно выщипывав оставшийся белый пушок.

– А если будет?

– Ежели будет – страшно не страшно, все одно идти надо. Нашего брата не спросят. Иди себе с Богом. Дай-ка ножа; у тебя нож важный. – Я дал ему свой большой охотничий нож. Он разрубил гуся вдоль и половину протянул мне. – Возьми-ка себе на случай. А об этом самом, страшно ли, не страшно, не думай, барин, лучше. Все от Бога. От него никуда не уйдешь.

– Ежели уж летит в тебя пуля или там граната, куда ж уйти! – подтвердил Федоров, лежавший около нас. – Я так полагаю, Владимир Михайлыч, что даже опасности больше есть в бегстве. Потому пуля по траектории

должна лететь этак вот (он показал пальцем), и самая что ни на есть жарня в тылу образуется!

– Да, – сказал я, – особенно с турками. Говорят, они высоко целят.

– Ну, ученый! – сказал Житков Федорову. – Разговаривай больше! Там тебе такую траекторию покажут! Оно конечно, – прибавил он, подумав, – что лучше уж впереди...

– Куда начальство, – сказал Федоров. – А наш вперед пойдет, не струсит.

– Пойдет. Наш не струсит. И Немцев тоже пойдет.

– Дядя Житков, – спросил Федоров, – как скажешь: быть ему сегодня живу или нет?

Житков потупил глаза.

– Ты про что это говоришь? – спросил он.

– Да полно! Видел его? Так вот все в нем и ходит.

Житков стал еще угрюмее.

– Пустое ты болтаешь, – глухо проговорил он.

– А до Дунаю-то что говорили? – сказал Федоров.

– До Дунаю!.. Обозлившись, с сердцов, вся-

кое несли. Известно, невтерпеж было. Ты что думаешь, разбойники, что ли? – сказал Житков, обернувшись и смотря Федорову прямо в лицо. – Бога, что ли, в них нет? Не знают, куда идут! Может, которым сегодня Господу Богу ответ держать, а им об таком деле думать? До Дунаю! Да я до Дунаю-то и сам раз барину сказал (он кивнул на меня). Точно, что сказал, потому и смотреть-то тошно было. Эка вспомнил, до Дунаю!

Он полез в голенище за кисетом и долго еще ворчал, набивая трубку и закуривая ее. Потом, спрятав кисет, уселся поудобнее, охватив колени руками, и погрузился в какую-то тяжелую думу.

Через полчаса мы вышли из деревни и начали подниматься из долины в гору. За возвышенностью, которую нам нужно было перейти, были турки. Мы вышли на гору; перед нами открылось широкое, холмистое, постепенно понижавшееся пространство, покрытое то нивами пшеницы, то кукурузными полями, то огромными зарослями карагача и кизила. В двух местах белели минареты деревень, скрытых между зелеными холмами. Мы



должны были взять правую из них. За нею, на краю горизонта, чуть виднелась беловатая полоска: то было шоссе, прежде занятое нашими казаками. Скоро все это скрылось из вида: мы вступили в густую заросль, изредка прерываемую небольшими полянками.

Я плохо помню начало боя. Когда мы вышли на открытое место, на вершину холма, откуда турки могли ясно видеть, как наши роты, выходя из кустов, строились и расходились в цепь, одиноко загремел пушечный выстрел. Это они пустили гранату. Люди дрогнули; глаза всех устремились на уже расплывавшееся, тихо скатывавшееся с холма белое облачко дыма. И в тот же миг приближающийся звонкий, скрежещущий звук снаряда, летевшего, как казалось, над самыми нашими головами, заставил всех пригнуться. Граната, перелетев через нас, ударилась в землю около шедшей позади роты; помню глухой удар ее разрыва и вслед за тем – чей-то жалобный крик. Осколок оторвал ногу фельдфебелю. Я узнал это после; тогда я не мог понять этого крика: ухо слышало его – и только. Тогда все слилось в том смутном и не вырази-

мом словами чувстве, какое овладевает вступающим в первый раз в огонь. Говорят, что нет никого, кто бы не боялся в бою; всякий нехвастливый и прямой человек на вопрос: страшно ли ему, ответит: страшно. Но не было того физического страха, какой овладевает человеком ночью, в глухом переулке, при встрече с грабителем; было полное, ясное сознание неизбежности и близости смерти. И – дико и странно звучат эти слова – это сознание не останавливало людей, не заставляло их думать о бегстве, а вело вперед. Не проснулись кровожадные инстинкты, не хотелось идти вперед, чтобы убить кого-нибудь, но было неотвратимое побуждение идти вперед во что бы то ни стало, и мысль о том, что нужно делать во время боя, не выразилась бы словами: нужно убить, а скорее: нужно умереть.

Пока мы переходили через поляну, турки успели сделать несколько выстрелов. Нас отделяла от них только последняя большая заросль, медленно поднимавшаяся к деревне. Мы вошли в кусты. Все смолкло.

Идти было трудно: густые, часто колючие кусты разрослись густо, и нужно было обхо-

дить их или пробираться через них. Шедшие впереди стрелки уже рассыпались цепью и изредка тихо перекликались между собою, чтобы не разойтись. Мы пока держались всей ротой вместе. Глубокое молчание царило в лесу.

И вот раздался первый, негромкий, похожий на удар топора дровосека, ружейный выстрел. Турки наугад начали пускать в нас пули. Они свистели высоко в воздухе разными тонами, с шумом пролетали сквозь кусты, отрывая ветви, но не попадали в людей. Звук рубки леса становился все чаще и наконец слился в однообразную трескотню. Отдельных взвизгов и свиста не стало слышно; свистел и выл весь воздух. Мы торопливо шли вперед, все около меня были целы, и я сам был цел. Это очень удивляло меня.

Вдруг мы вышли из кустов. Дорогу пересекал глубокий овраг с ручейками. Люди отдохнули минуту и напились воды.

Отсюда роты развели в разные стороны, чтобы охватить турок с флангов; нашу роту оставили в резерве в овраге. Стрелки должны были идти прямо и, пройдя через кусты, во-

рваться в деревню. Турецкие выстрелы трещали по-прежнему часто, без умолку, но гораздо громче.

Выбравшись на другой берег оврага, Венцель выстроил свою роту. Он оказал людям что-то, чего я не слышал.

– Постараемся, постараемся! – раздались голоса стрелков.

Я смотрел на него снизу: он был бледен и, как мне показалось, печален, но довольно спокоен. Увидев Ивана Платоныча и Стебелькова, он махнул им платком, потом стал искать чего-то глазами в нашей толпе. Я догадался, что ему хочется проститься и со мной, и встал, чтобы он заметил меня. Венцель улыбнулся, кивнул мне несколько раз головою и скомандовал роте идти в цепь. Кучки по четыре человека расходились вправо и влево, растянулись в длинную цепь и разом исчезли в кустах, кроме одного, который вдруг рванулся всем телом, поднял руки и тяжело рухнулся на землю. Двое из наших выскочили из оврага и принесли тело.

Томительно прошло полчаса неизвестности.

Бой разгорался. Ружейный огонь учащался и перешел в сплошной грозный вой. На правом фланге загремели пушки. Из кустов начали показываться идущие и ползущие окровавленные люди; сначала их было мало, но с каждой минутой становилось все больше и больше. Наши помогали им спускаться в овраг, поили водой и укладывали в ожидании санитаров с носилками. Стрелок с раздробленной кистью руки, страшно охая и закатывая глаза, с посиневшим от потери крови и боли лицом, пришел сам и сел у ручья. Ему затанули руку, уложили на шинель; кровь остановилась. Его била лихорадка; губы дрожали, он всхлипывал, нервно и судорожно рыдая.

– Братцы, братцы!.. земляки милые!..

– Много побили?

– Так и валятся.

– Ротный цел?

– Цел пока. Кабы не он, отбили бы. Возьмут. С ним возьмут, – слабым голосом говорил раненый. – Три раза водил, отбивали. В четвертый повел. В буераке сидят; патронов у них – так и сеют, так и сеют... Да нет! – вдруг

злобно закричал раненый, привстав и махая больной рукой. – Шалишь! Шалишь, проклятый!..

И он, вращая исступленными глазами, выкрикнул страшное, грубое ругательство и повалился без чувств.

На берегу оврага показался Лукин.

– Иван Платоныч! – закричал он не своим голосом. – Ведите!

Дым, треск, стоны, бешеное «ура!». Запах крови и пороха. Закутанные дымом странные чужие люди с бледными лицами. Дикая, нечеловеческая свалка. Благодарение Богу за то, что такие минуты помнятся только как в тумане.

Когда мы подоспели, Венцель в пятый раз вел остаток своей роты на турок, засыпавших его свинцом. На этот раз стрелки ворвались в деревню. Немногие из защищавших ее в этом месте турок успели убежать. Вторая стрелковая рота потеряла в два часа боя *пятьдесят два* человека из ста с небольшим. Наша рота, мало принимавшая участия в деле, – несколь-

ко человек.

Мы не остались на отбитой позиции, хотя турки были сбиты повсюду. Когда наш генерал увидел, что из деревни выходят на шоссе батальон за батальоном, двигаются массы кавалерии и тянутся длинные вереницы пушек, он ужаснулся. Очевидно, турки не знали наших сил, скрытых кустами: если бы им было известно, что всего только четырнадцать рот выбили их из глубоких дорог, рытвин и плетней, окружавших деревню, они вернулись бы и раздавили нас. Их было втрое больше.

Вечером мы были уже на старом месте. Иван Платоныч позвал меня пить чай.

– Венцеля видели? – спросил он.

– Нет еще.

– Подите к нему в палатку, позовите к нам. Убивается человек. «Пятьдесят два! Пятьдесят два!» – только и слышно. Подите к нему.

Тонкий огарок слабо освещал палатку Венцеля. Прижавшись в уголку палатки и опустив голову на какой-то ящик, он глухо рыдал.

# Красный цветок (памяти *Ивана Сергеевича Тургенева*)

## I

— Именем его императорского величества, государя императора Петра Первого, объявляю ревизию сему сумасшедшему дому!

Эти слова были сказаны громким, резким, звенящим голосом. Писарь больницы, записывавший больного в большую истрепанную книгу на залитом чернилами столе, не удержался от улыбки. Но двое молодых людей, сопровождавшие больного, не смеялись: они едва держались на ногах после двух суток, проведенных без сна, наедине с безумным, которого они только что привезли по железной дороге. На предпоследней станции припадок бешенства усилился; где-то достали сумасшедшую рубаху и, позвав кондукторов и жандарма, надели на больного. Так привезли его в город, так доставили и в больницу.

Он был страшен. Сверх изорванного во



время припадка в ключья серого платья куртка из грубой парусины с широким вырезом обтягивала его стан; длинные рукава прижимали его руки к груди накрест и были завязаны сзади. Воспаленные, широко раскрытые глаза (он не спал десять суток) горели неподвижным горячим блеском; нервная судорога подергивала край нижней губы; спутанные курчавые волосы падали гривой на лоб; он быстрыми тяжелыми шагами ходил из угла в угол конторы, пытливо осматривая старые шкапы с бумагами и клеенчатые стулья и изредка взглядывая на своих спутников.

– Сведите его в отделение. Направо.

– Я знаю, знаю. Я был уже здесь с вами в прошлом году. Мы осматривали больницу. Я все знаю, и меня будет трудно обмануть, – сказал больной.

Он повернулся к двери. Сторож растворил ее перед ним; тою же быстрою, тяжелою и решительною походкою, высоко подняв безумную голову, он вышел из конторы и почти бегом пошел направо, в отделение душевнобольных. Провожавшие едва успевали идти за ним.

– Позвони. Я не могу. Вы связали мне руки.

Швейцар отворил двери, и путники вступили в больницу.

Это было большое каменное здание старинной казенной постройки. Два больших зала, один – столовая, другой – общее помещение для спокойных больных, широкий коридор со стеклянною дверью, выходящей в сад с цветником, и десятка два отдельных комнат, где жили больные, занимали нижний этаж; тут же были устроены две темные комнаты, одна обитая тюфяками, другая досками, в которые сажали буйных, и огромная мрачная комната со сводами – ванная. Верхний этаж занимали женщины. Нестройный шум, прерываемый завываниями и воплями, несся оттуда. Больница была устроена на восемьдесят человек, но так как она одна служила на несколько окрестных губерний, то в ней помещалось до трехсот. В небольших каморках было по четыре и по пяти кроватей; зимой, когда больных не выпускали в сад и все окна за железными решетками бывали наглухо заперты, в больнице становилось невыносимо душно.

Нового больного отвели в комнату, где помещались ванны. И на здорового человека она могла произвести тяжелое впечатление, а на расстроенное, возбужденное воображение действовала тем более тяжело. Это была большая комната со сводами, с липким каменным полом, освещенная одним сделанным в углу окном; стены и своды были выкрашены темно-красною масляною краскою; в почерневшем от грязи полу, в уровень с ним, были вделаны две каменные ванны, как две овальные, наполненные водою ямы. Огромная медная печь с цилиндрическим котлом для нагревания воды и целой системой медных трубок и кранов занимала угол против окна; все носило необыкновенно мрачный и фантастический для расстроенной головы характер, и заведовавший ванными сторож, толстый, вечно молчавший хохол, своею мрачною физиономиею увеличивал впечатление.

И когда больного привели в эту страшную комнату, чтобы сделать ему ванну и, согласно с системой лечения главного доктора больницы, наложить ему на затылок большую мушку, он пришел в ужас и ярость. Нелепые мыс-

ли, одна чудовищнее другой, завертелись в его голове. Что это? Инквизиция? Место тайной казни, где враги его решили покончить с ним? Может быть, самый ад? Ему пришло наконец в голову, что это какое-то испытание. Его раздели, несмотря на отчаянное сопротивление. С удвоенною от болезни силою он легко вырывался из рук нескольких сторожей, так что они падали на пол; наконец четверо повалили его и, схватив за руки и за ноги, опустили в теплую воду. Она показалась ему кипятком, и в безумной голове мелькнула бессвязная отрывочная мысль об испытании кипятком и каленым железом. Захлебываясь водою и судорожно барахтаясь руками и ногами, за которые его крепко держали сторожа, он, задыхаясь, выкрикивал бессвязную речь, о которой невозможно иметь представления, не слышав ее на самом деле. Тут были и молитвы и проклятия. Он кричал, пока не выбился из сил, и наконец тихо, с горячими слезами, проговорил фразу, совершенно не вязавшуюся с предыдущей речью:

– Святой великомученик Георгий! В руки твои предаю тело мое. А дух – нет, о нет!..

Сторожа все еще держали его, хотя он и успокоился. Теплая ванна и пузырь со льдом, положенный на голову, произвели свое действие. Но когда его, почти бесчувственного, вынули из воды и посадили на табурет, чтобы поставить мушку, остаток сил и безумные мысли снова точно взорвало.

– За что? За что? – кричал он. – Я никому не хотел зла. За что убивать меня? О-о-о! О Господи! О вы, мучимые раньше меня! Вас молю, избавьте...

Жгучее прикосновение к затылку заставило его отчаянно биться. Прислуга не могла с ним справиться и не знала, что делать.

– Ничего не поделаешь, – сказал производивший операцию солдат. – Нужно стереть.

Эти простые слова привели больного в содрогание. «Стереть!.. Что стереть? Кого стереть? Меня!» – подумал он и в смертельном ужасе закрыл глаза. Солдат взял за два конца грубое полотенце и, сильно нажимая, быстро провел им по затылку, сорвав с него и мушку и верхний слой кожи и оставив обнаженную красную ссадину. Боль от этой операции, невыносимая и для спокойного и здорового

человека, показалась больному концом всего. Он отчаянно рванулся всем телом, вырвался из рук сторожей, и его нагое тело покатилося по каменным плитам. Он думал, что ему отрубили голову. Он хотел крикнуть и не мог. Его отнесли на койку в беспамятстве, которое перешло в глубокий, мертвый и долгий сон.

## II

Он очнулся ночью. Все было тихо; из соседней большой комнаты слышалось дыхание спящих больных. Где-то далеко монотонным, странным голосом разговаривал сам с собою больной, посаженный на ночь в темную комнату, да сверху, из женского отделения, хриплый контральто пел какую-то дикую песню. Больной прислушивался к этим звукам. Он чувствовал страшную слабость и разбитость во всех членах; шея его сильно болела.

– Где я? Что со мной? – пришло ему в голову. И вдруг с необыкновенною яркостью ему представился последний месяц его жизни, и он понял, что он болен и чем болен. Ряд нелепых мыслей, слов и поступков вспомнился ему, заставляя содрогаться всем существом.

– Но это кончено, слава Богу, это кончено! –

прошептал он и снова уснул.

Открытое окно с железными решетками выходило в маленький закоулок между большими зданиями и каменной оградой; в этот закоулок никто никогда не заходил, и он весь густо зарос каким-то диким кустарником и сиренью, пышно цветшею в то время года... За кустами, прямо против окна, темнела высокая ограда, высокие верхушки деревьев большого сада, облитые и проникнутые лунным светом, глядели из-за нее. Справа подымалось белое здание больницы с освещенными изнутри окнами с железными решетками; слева – белая, яркая от луны, глухая стена мертвецкой. Лунный свет падал сквозь решетку окна вовнутрь комнаты, на пол, и освещал часть постели и измученное, бледное лицо больного с закрытыми глазами; теперь в нем не было ничего безумного. Это был глубокий, тяжелый сон измученного человека, без сновидений, без малейшего движения и почти без дыхания. На несколько мгновений он проснулся в полной памяти, как будто бы здоровым, затем чтобы утром встать с постели прежним безумцем.

### III

– Как вы себя чувствуете? – спросил его на другой день доктор.

Больной, только что проснувшись, еще лежал под одеялом.

– Отлично! – отвечал он, вскакивая, надевая туфли и хватаясь за халат. – Прекрасно! только одно: вот!

Он показал себе на затылок.

– Я не могу повернуть шеи без боли. Но это ничего. Все хорошо, если его понимаешь; а я понимаю.

– Вы знаете, где вы?

– Конечно, доктор! Я в сумасшедшем доме. Но ведь, если понимаешь, это решительно все равно. Решительно все равно.

Доктор пристально смотрел ему в глаза. Его красивое холеное лицо с превосходно расчесанной золотистой бородой и спокойными голубыми глазами, смотревшими сквозь золотые очки, было неподвижно и непроницаемо. Он наблюдал.

– Что вы так пристально смотрите на меня? Вы не прочтете того, что у меня в душе, – продолжал больной, – а я ясно читаю в ва-



шей! Зачем вы делаете зло? Зачем вы собрали эту толпу несчастных и держите ее здесь? Мне все равно: я все понимаю и спокоен; но они? К чему эти мученья? Человеку, который достиг того, что в душе его есть великая мысль, общая мысль, ему все равно, где жить, что чувствовать. Даже жить и не жить... Ведь так?

– Может быть, – отвечал доктор, садясь на стул в углу комнаты так, чтобы видеть больного, который быстро ходил из угла в угол, шлепая огромными туфлями конской кожи и размахивая полами халата из бумажной материи с широкими красными полосами и крупными цветами. Сопровождавшие доктора фельдшер и надзиратель продолжали стоять навтыжку у дверей.

– И у меня она есть! – воскликнул больной. – И когда я нашел ее, я почувствовал себя переродившимся. Чувства стали острее, мозг работает как никогда. Что прежде достигалось длинным путем умозаключений и догадок, теперь я познаю интуитивно. Я достиг реально того, что выработано философией. Я переживаю самим собою великие идеи о том,

что пространство и время – суть фикции. Я живу во всех веках. Я живу без пространства, везде или нигде, как хотите. И поэтому мне все равно, держите ли вы меня здесь или отпустите на волю, свободен я или связан. Я заметил, что тут есть еще несколько таких же. Но для остальной толпы такое положение ужасно. Зачем вы не освободите их? Кому нужно...

– Вы сказали, – перебил его доктор, – что вы живете вне времени и пространства. Однако нельзя не согласиться, что мы с вами в этой комнате и что теперь, – доктор вынул часы, – половина одиннадцатого, 6-го мая 18\*\* года. Что вы думаете об этом?

– Ничего. Мне все равно, где ни быть и когда ни жить. Если *мне* все равно, не значит ли это, что я везде и всегда?

Доктор усмехнулся.

– Редкая логика, – сказал он, вставая. – Пожалуй, вы правы. До свидания. Не хотите ли вы сигарку?

– Благодарю вас. – Он остановился, взял сигару и нервно откусил ее кончик. – Это помогает думать, – сказал он. – Это мир, микро-

косм. На одном конце щелочи, на другом – кислоты... Таково равновесие и мира, в котором нейтрализуются противоположные начала. Прощайте, доктор!

Доктор отправился дальше. Большая часть больных ожидала его, вытянувшись у своих коек. Никакое начальство не пользуется таким почетом от своих подчиненных, каким доктор-психиатр от своих помешанных.

А больной, оставшись один, продолжал порывисто ходить из угла в угол камеры. Ему принесли чай; он, не присаживаясь, в два приема опорожнил большую кружку и почти в одно мгновение съел большой кусок белого хлеба. Потом он вышел из комнаты и несколько часов, не останавливаясь, ходил своею быстрою и тяжелой походкой из конца в конец всего здания. День был дождливый, и больных не выпускали в сад. Когда фельдшер стал искать нового больного, ему указали на конец коридора; он стоял здесь, прильнувши лицом к стеклу стеклянной садовой двери, и пристально смотрел на цветник. Его внимание привлек необыкновенно яркий алый цветок, один из видов мака.

– Пожалуйте взвеситься, – сказал фельдшер, трогая его за плечо.

И когда тот повернулся к нему лицом, он чуть не отшатнулся в испуге: столько дикой злобы и ненависти горело в безумных глазах. Но, увидав фельдшера, он тотчас же переменял выражение лица и послушно пошел за ним, не сказав ни одного слова, как будто погруженный в глубокую думу. Они прошли в докторский кабинет; больной сам встал на платформу небольших десятичных весов: фельдшер, свесив его, отметил в книге против его имени 109 фунтов. На другой день было 107, на третий 106.

– Если так пойдет дальше, он не выживет, – сказал доктор и приказал кормить его как можно лучше.

Но, несмотря на это и на необыкновенный аппетит больного, он худел с каждым днем, и фельдшер каждый день записывал в книгу все меньшее и меньшее число фунтов. Больной почти не спал и целые дни проводил в непрерывном движении.

#### IV

Он сознавал, что он в сумасшедшем доме;

он сознавал даже, что он болен. Иногда, как в первую ночь, он просыпался среди тишины после целого дня буйного движения, чувствуя ломоту во всех членах и страшную тяжесть в голове, но в полном сознании. Может быть, отсутствие впечатлений в ночной тишине и полусвете, может быть, слабая работа мозга только что проснувшегося человека делали то, что в такие минуты он ясно понимал свое положение и был как будто бы здоров. Но наступал день; вместе со светом и пробуждением жизни в больнице его снова волною охватывали впечатления; больной мозг не мог справиться с ними, и он снова был безумным. Его состояние было странною смесью правильных суждений и нелепостей. Он понимал, что вокруг него все больные, но в то же время в каждом из них видел какое-нибудь тайно скрывающееся или скрытое лицо, которое он знал прежде или о котором читал или слышал. Больница была населена людьми всех времен и всех стран. Тут были и живые и мертвые. Тут были знаменитые и сильные мира и солдаты, убитые в последнюю войну и воскресшие. Он видел себя в каком-то вол-

шебном, заколдованном круте, собравшем в себя всю силу земли, и в горделивом исступлении считал себя за центр этого круга. Все они, его товарищи по больнице, собрались сюда затем, чтобы исполнить дело, смутно представлявшееся ему гигантским предприятием, направленным к уничтожению зла на земле. Он не знал, в чем оно будет состоять, но чувствовал в себе достаточно сил для его исполнения. Он мог читать мысли других людей; видел в вещах всю их историю; большие вязы в больничном саду рассказывали ему целые легенды из пережитого; здание, действительно построенное довольно давно, он считал постройкой Петра Великого и был уверен, что царь жил в нем в эпоху Полтавской битвы. Он прочел это на стенах, на обвалившейся штукатурке, на кусках кирпича и изразцов, находимых им в саду; вся история дома и сада была написана на них. Он населил маленькое здание мертвецкой десятками и сотнями давно умерших людей и пристально вглядывался в оконце, выходившее из ее подвала в уголок сада, видя в неровном отражении света в старом радужном и грязном стек-

ле знакомые черты, виденные им когда-то в жизни или на портретах.

Между тем наступила ясная, хорошая погода; больные целые дни проводили на воздухе в саду. Их отделение сада, небольшое, но густо заросшее деревьями, было везде, где только можно, засажено цветами. Надзиратель заставлял работать в нем всех сколько-нибудь способных к труду; целые дни они мели и посыпали песком дорожки, пололи и поливали грядки цветов, огурцов, арбузов и дынь, вскопанные их же руками. Угол сада зарос густым вишняком; вдоль него тянулись аллеи из вязов; посредине, на небольшой искусственной горке, был разведен самый красивый цветник во всем саду; яркие цветы росли по краям верхней площадки, а в центре ее красовалась большая, крупная и редкая, желтая с красными крапинками далия. Она составляла центр и всего сада, возвышаясь над ним, и можно было заметить, что многие больные придавали ей какое-то таинственное значение. Новому больному она казалась тоже чем-то не совсем обыкновенным, каким-то палладиумом сада и здания. Все дорожки были также обса-

жены руками больных. Тут были всевозможные цветы, встречающиеся в малороссийских садиках: высокие розы, яркие петунии, кусты высокого табаку с небольшими розовыми цветами, мята, бархатцы, настурции и мак. Тут же, недалеко от крыльца, росли три кустика мака какой-то особенной породы; он был гораздо меньше обыкновенного и отличался от него необыкновенною яркостью алого цвета. Этот цветок и поразил больного, когда он в первый день после поступления в больницу смотрел в сад сквозь стеклянную дверь.

Выйдя в первый раз в сад, он прежде всего, не сходя со ступень крыльца, посмотрел на эти яркие цветы. Их было всего только два; случайно они росли отдельно от других и на невыполотом месте, так что густая лебеда и какой-то бурьян окружали их.

Больные один за другим выходили из дверей, у которых стоял сторож и давал каждому из них толстый белый, вязанный из бумаги колпак с красным крестом на лбу. Колпаки эти побывали на войне и были куплены на аукционе. Но больной, само собою понимает-



ся, придавал этому красному кресту особое, таинственное значение. Он снял с себя колпак и посмотрел на крест, потом на цветы мака. Цветы были ярче.

– Он побеждает, – сказал больной, – но мы посмотрим.

И он сошел с крыльца. Осмотревшись и не заметив сторожа, стоявшего сзади него, он перешагнул грядку и протянул руку к цветку, но не решился сорвать его. Он почувствовал жар и колотье в протянутой руке, а потом и во всем теле, как будто бы какой-то сильный ток неизвестной ему силы исходил от красных лепестков и пронизывал все его тело. Он придвинулся ближе и протянул руку к самому цветку, но цветок, как ему казалось, защищался, испуская ядовитое, смертельное дыхание. Голова его закружилась; он сделал последнее отчаянное усилие и уже схватился за стебелек, как вдруг тяжелая рука легла ему на плечо. Это сторож схватил его.

– Нельзя рвать, – сказал старик хохол. – И на грядку не ходи. Тут много вас, сумасшедших, найдется: каждый по цветку, весь сад разнесут, – убедительно сказал он, все держа

его за плечо.

Больной посмотрел ему в лицо, молча освободился от его руки и в волнении пошел по дорожке. «О несчастные! – думал он. – Вы не видите, вы ослепли до такой степени, что защищаете его. Но во что бы то ни стало я покончу с ним. Не сегодня, так завтра мы померяемся силами. И если я погибну, не все ли равно...»

Он гулял по саду до самого вечера, заводя знакомства и ведя странные разговоры, в которых каждый из собеседников слышал только ответы на свои безумные мысли, выражавшиеся нелепо-таинственными словами. Больной ходил то с одним товарищем, то с другим и к концу дня еще более убедился, что «все готово», как он сказал сам себе. Скоро, скоро распадутся железные решетки, все эти заточенные выйдут отсюда и помчатся во все концы земли, и весь мир содрогнется, сбросит с себя ветхую оболочку и явится в новой, чудной красоте. Он почти забыл о цветке, но, уходя из сада и поднимаясь на крыльцо, снова увидел в густой потемневшей и уже начинавшей роситься траве точно два красных уголь-

ка. Тогда больной отстал от толпы и, став позади сторожа, выждал удобного мгновения. Никто не видел, как он перескочил через грядку, схватил цветок и торопливо спрятал его на своей груди под рубашкой. Когда свежие, росистые листья коснулись его тела, он побледнел как смерть и в ужасе широко раскрыл глаза. Холодный пот выступил у него на лбу.

*Никто не видел, как он перескочил через грядку, схватил цветок и торопливо спрятал его на своей груди под рубашкой.*

В больнице зажгли лампы; в ожидании ужина большая часть больных улеглась на постели, кроме нескольких беспокойных, торопливо ходивших по коридору и залам. Больной с цветком был между ними. Он ходил, судорожно сжав руки у себя на груди крестом: казалось, он хотел раздавить, размозжить спрятанное на ней растение. При встрече с другими он далеко обходил их, боясь прикоснуться к ним краем одежды. «Не подходите, не подходите!» – кричал он. Но в больнице на такие возгласы мало кто обращал внимание. И он ходил все скорее и скорее, делал ша-



ги все больше и больше, ходил час, два с каким-то остервенением.

– Я утомлю тебя. Я задушю тебя! – глухо и злобно говорил он.

Иногда он скрежетал зубами.

В столовую подали ужинать. На большие столы без скатертей поставили по несколько деревянных крашеных и золоченых мисок с жидкою пшенной кашицею; больные уселись на лавки; им роздали по ломтю черного хлеба. Ели деревянными ложками человек по восьми из одной миски. Некоторым, пользовавшимся улучшенной пищей, подали отдельно. Наш больной, быстро проглотив свою порцию, принесенную сторожем, который позвал его в его комнату, не удовольствовался этим и пошел в общую столовую.

– Позвольте мне сесть здесь, – сказал он надзирателю.

– Разве вы не ужинали? – спросил надзиратель, разливая добавочные порции каши в миски.

– Я очень голоден. И мне нужно сильно подкрепиться. Вся моя поддержка в пище; вы знаете, что я совсем не сплю.

– Кушайте, милый, на здоровье. Тарас, дай им ложку и хлеба.

Он подсел к одной из чашек и съел еще огромное количество каши.

– Ну, довольно, довольно, – сказал наконец надзиратель, когда все кончили ужинать, а наш больной еще продолжал сидеть над чашкой, черпая из нее одной рукой кашу, а другой крепко держась за грудь. – Объедитесь.

– Эх, если бы вы знали, сколько сил мне нужно, сколько сил! Прощайте, Николай Николаич, – сказал больной, вставая из-за стола и крепко сжимая руку надзирателя. – Прощайте.

– Куда же вы? – спросил с улыбкой надзиратель.

– Я? Никуда. Я остаюсь. Но, может быть, завтра мы не увидимся. Благодарю вас за вашу доброту.

И он еще раз крепко пожал руку надзирателю. Голос его дрожал, на глазах выступили слезы.

– Успокойтесь, милый, успокойтесь, – отвечал надзиратель. – К чему такие мрачные мысли? Подите лягте да засните хорошенько.

Вам больше спать следует; если будете спать хорошо, скоро и поправитесь.

Больной рыдал. Надзиратель отвернулся, чтобы приказать сторожам поскорее убирать остатки ужина. Через полчаса в больнице все уже спало, кроме одного человека, лежавшего нераздетым на своей постели в угловой комнате. Он дрожал как в лихорадке и судорожно стискивал себе грудь, всю пропитанную, как ему казалось, неслыханно смертельным ядом.

## V

Он не спал всю ночь. Он сорвал этот цветок, потому что видел в таком поступке подвиг, который он был обязан сделать. При первом взгляде сквозь стеклянную дверь алые лепестки привлекли его внимание, и ему показалось, что он с этой минуты вполне постиг, что именно должен он совершить на земле. В этот яркий красный цветок собралось все зло мира. Он знал, что из мака делается опиум; может быть, эта мысль, разрастаясь и принимая чудовищные формы, заставила его создать страшный фантастический призрак. Цветок в его глазах осуществлял собою все зло; он впитал в себя всю невинно

пролитую кровь (оттого он и был так красен), все слезы, всю желчь человечества. Это было таинственное, страшное существо, противоположность Богу, Ариман, принявший скромный и невинный вид. Нужно было сорвать его и убить. Но этого мало, – нужно было не дать ему при издыхании излить все свое зло в мир. Потому-то он и спрятал его у себя на груди. Он надеялся, что к утру цветок потеряет всю свою силу. Его зло перейдет в его грудь, его душу, и там будет побеждено или победит – тогда сам он погибнет, умрет, но умрет как честный боец и как первый боец человечества, потому что до сих пор никто не осмеливался бороться разом со всем злом мира.

– Они не видели его. Я увидел. Могу ли я оставить его жить? Лучше смерть.

И он лежал, изнемогая в призрачной, несуществующей борьбе, но все-таки изнемогая. Утром фельдшер застал его чуть живым. Но, несмотря на это, через несколько времени возбуждение взяло верх, он вскочил с постели и по-прежнему забегал по больнице, разговаривая с больными и сам с собою громче и



несвязнее, чем когда-нибудь. Его не пустили в сад; доктор, видя, что вес его уменьшается, а он все не спит и все ходит и ходит, приказал впрыснуть ему под кожу большую дозу морфия. Он не сопротивлялся: к счастью, в это время его безумные мысли как-то совпали с этой операцией. Он скоро заснул; бешеное движение прекратилось, и постоянно сопутствовавший ему, создавшийся из такта его порывистых шагов, громкий мотив исчез из ушей. Он забылся и перестал думать обо всем, и даже о втором цветке, который нужно было сорвать.

Однако он сорвал его через три дня, на глазах у старика, не успевшего предупредить его. Сторож погнался за ним. С громким торжествующим воплем больной вбежал в больницу и, кинувшись в свою комнату, спрятал растение на груди.

– Ты зачем цветы рвешь? – спросил прибежавший за ним сторож.

Но больной, уже лежавший на постели в привычной позе со скрещенными руками, начал говорить такую чепуху, что сторож только молча снял с него забытый им в поспеш-

ном бегстве колпак с красным крестом и ушел. И призрачная борьба началась снова. Больной чувствовал, что из цветка длинными, похожими на змей, ползучими потоками извивается зло; они опутывали его, сжимали и сдавливали члены и пропитывали все тело своим ужасным содержанием. Он плакал и молился Богу в промежутках между проклятиями, обращенными к своему врагу. К вечеру цветок завял. Больной растоптал почерневшее растение, подобрал остатки с пола и понес в ванную. Бросив бесформенный комочек зелени в раскаленную каменным углем печь, он долго смотрел, как его враг шипел, съезживался и наконец превратился в нежный снежно-белый комочек золы. Он дунул, и все исчезло.

На другой день больному стало хуже. Страшно бледный, с ввалившимися щеками, с глубоко ушедшими внутрь глазных впадин горящими глазами, он, уже шатающеюся походкой и часто спотыкаясь, продолжал свою бешеную ходьбу и говорил, говорил без конца.

– Мне не хотелось бы прибегать к наси-

лию, – сказал своему помощнику старший доктор.

– Но ведь необходимо остановить эту работу. Сегодня в нем девяносто три фунта веса. Если так пойдет дальше, он умрет через два дня.

Старший доктор задумался.

– Морфий? Хлорал? – сказал он полувопросительно.

– Вчера морфий уже не действовал.

– Прикажете связать его. Впрочем, я сомневаюсь, чтобы он уцелел.

## VI

И больного связали. Он лежал, одетый в сумасшедшую рубаху, на своей постели, крепко привязанный широкими полосами холста к железным перекладинам кровати. Но бешенство движений не уменьшилось, а скорее возросло. В течение многих часов он упорно силился освободиться от своих пут. Наконец однажды, сильно рванувшись, он разорвал одну из повязок, освободил ноги и, выскользнув из-под других, начал со связанными руками расхаживать по комнате, выкрикивая дикие, непонятные речи.

– О, щоб тобі!.. – закричав вошедший сторож. – Який тобі бис допомагає! Грицько! Іван! Ідіте швидче, бо він розв'язавсь.

Они втроем накинулись на больного, и началась долгая борьба, утомительная для нападавших и мучительная для защищавшегося человека, тратившего остаток истощенных сил. Наконец его повалили на постель и скрутили крепче прежнего.

– Вы не понимаете, что вы делаете! – кричал больной, задыхаясь. – Вы погибаете! Я видел третий, едва распустившийся. Теперь он уже готов. Дайте мне кончить дело! Нужно убить его, убить! убить! Тогда все будет кончено, все спасено. Я послал бы вас, но это могу сделать только один я. Вы умерли бы от одного прикосновения.

– Молчите, паньч, молчите! – сказал старик сторож, оставшийся дежурить около постели.

Больной вдруг замолчал. Он решил обмануть сторожей. Его продержали связанным целый день и оставили в таком положении на ночь. Накормив его ужином, сторож постлал что-то около постели и улегся. Через

минуту он спал крепким сном, а больной принялся за работу.

Он изогнулся всем телом, чтобы коснуться железной продольной перекладины постели, и, нащупав ее спрятанной в длинном рукаве сумасшедшей рубахи кистью руки, начал быстро и сильно тереть рукав об железо. Через несколько времени толстая парусина подалась, и он высвободил указательный палец. Тогда дело пошло скорее. С совершенно невероятной для здорового человека ловкостью и гибкостью он развязал сзади себя узел, стягивавший рукава, расшнуровал рубаху и после этого долго прислушивался к храпению сторожа. Но старик спал крепко. Больной снял рубаху и отвязался от кровати. Он был свободен. Он попробовал дверь: она была заперта изнутри, и ключ, вероятно, лежал в кармане у сторожа. Боясь разбудить его, он не посмел обыскивать карманы и решил уйти из комнаты через окно.

Была тихая, теплая и темная ночь; окно было открыто; звезды блестели на черном небе. Он смотрел на них, отличая знакомые созвездия и радуясь тому, что они, как ему ка-

залось, понимают его и сочувствуют ему. Мигая, он видел бесконечные лучи, которые они посылали ему, и безумная решимость увеличивалась. Нужно было отогнуть толстый прут железной решетки, пролезть сквозь узкое отверстие в закоулок, заросший кустами, перебраться через высокую каменную ограду. Там будет последняя борьба, а после – хоть смерть.

Он попробовал согнуть толстый прут голыми руками, но железо не подавалось. Тогда, скрутив из крепких рукавов сумасшедшей рубахи веревку, он зацепил ею за выкованное на конце прута копьё и повис на нем всем телом. После отчаянных усилий, почти истощивших остаток его сил, копьё согнулось; узкий проход был открыт. Он протискался сквозь него, ссадив себе плечи, локти и обнаженные колени, пробрался сквозь кусты и остановился перед стеной. Все было тихо; огни ночников слабо освещали изнутри окна огромного здания; в них не было видно никого. Никто не заметит его; старик, дежуривший у его постели, вероятно, спит крепким сном. Звезды ласково мигали лучами, проникавшими до самого его сердца.

– Я иду к вам, – прошептал он, глядя на небо.

Оборвавшись после первой попытки, с оборванными ногтями, окровавленными руками и коленями, он стал искать удобного места. Там, где ограда сходилась со стеной мертвецкой, из нее и из стены выпало несколько кирпичей. Больной нащупал эти впадины и воспользовался ими. Он влез на ограду, ухватился за ветки вяза, росшего по ту сторону, и тихо спустился по дереву на землю.

Он кинулся к знакомому месту около крыльца. Цветок темнел своей головкой, свернув лепестки и ясно выделяясь на росистой траве.

– Последний! – прошептал больной. – Последний! Сегодня победа или смерть. Но это для меня уже все равно. Погодите, – сказал он, глядя на небо, – я скоро буду с вами.

Он вырвал растение, истерзал его, смял и, держа его в руке, вернулся прежним путем в свою комнату. Старик спал. Больной, едва дойдя до постели, рухнул на нее без чувств.

Утром его нашли мертвым. Лицо его было спокойно и светло; истощенные черты с тон-

кими губами и глубоко впавшими закрытыми глазами выражали какое-то горделивое счастье. Когда его клали на носилки, попробовали разжать руку и вынуть красный цветок. Но рука заоченела, и он унес свой трофей в могилу.

1883



# Медведи

**Н**а степной речке Рохле приютился город Бельск. В этом месте она делает несколько крутых излучин, соединенных протоками; все сплетение, если смотреть в ясный летний день с высокого правого берега долины реки, кажется целым бантом из голубых лент. Этот высокий берег подымается над уровнем Рохли сажен на пятьдесят и точно срезан огромным ножом так круто, что взобраться от воды наверх, туда, где начинается бесконечная степь, можно, только хватаясь за кусты бересклета, дерезы и орешника, густо покрывающих склон. Оттуда, сверху, открывается вид верст на сорок кругом. Направо к югу и налево на север тянутся холмы правого берега Рохли, круто спускающиеся в долину, как тот, с которого мы смотрим, или отлогие; некоторые из них белеют своими обнаженными от почвы меловыми вершинами и скатами; другие покрыты по большей части чахлой и низкой травой. Прямо на восток тянется безграничная, слегка поднимающаяся степь, то желтая от сенокосов, на которых густо разросся

негодный молочай, то зеленеющая хлебами, то лилово-черная от поднятой недавно целины, то серебристо-серая от ковыля. Отсюда она кажется ровною, и только привычный глаз рассмотрит на ней едва уловимые линии отлогих, невидимых, глубоких лощин и оврагов, да кое-где виднеется небольшим возвышением старый, распаханый и вросший в землю курган, уже без каменной бабы, которая, может быть, украшает в качестве скифского памятника двор Харьковского университета, а может быть, увезена каким-нибудь мужиком и заложена в стенку загона для скотины.

Внизу река, изгибаясь голубой лентой, тянется с севера на юг, то отходя от высокого берега в степь, то приближаясь и протекая под самую кручею. Она окаймлена кустами лозняка, кое-где сосною, а около города выгонами и садами. В некотором расстоянии от берега, в сторону степи, тянутся сплошной полосой почти по всему течению Рохли сыпучие пески, едва сдерживаемые красною и черною лозою и густым ковром душистого лилового чабреца. В этих песках, верстах в двух от горо-

да, приютилось и городское кладбище; с высоты оно кажется маленьким оазисом с возвышающеюся над ним деревянной колоколенкой кладбищенской церкви. Сам город не представляет собою ничего особенно выдающегося и очень похож на все уездные города; впрочем, он выгодно отличается от своих собратьев удивительною чистотою улиц, происходящею не столько от заботливости городского управления, сколько от песчаной почвы, на которой выстроен город; почва эта всасывает решительно всякое количество влаги, какое может произвести разгневанное небо, и тем приводит в большое затруднение городских свиней, которые должны отыскивать себе удобное помещение по крайней мере за две версты от города, в грязных, илистых берегах реки.

В сентябре 1875 года Бельск был необыкновенно взволнован. Обычная тишина жизни нарушилась; повсюду: в клубе, на улицах, на скамейках у ворот, в домах – происходили шумные разговоры. Можно было бы подумать, что происходившее в это время земское собрание с выборами заставило так волно-

ваться жителей, но бывали и прежде земские собрания – и с выборами и со скандалами – и не производили никакого особенного впечатления на бельчан. Иногда только встретившиеся на улице граждане обмениваются короткими фразами:

– Были? – спросит один, указывая взорами на дом, где помещалась земская управа.

– Был! – ответит другой и при этом махнет рукою. А привыкший к способу выражения мыслей собеседник поймет без слов, в чем дело, и промолвит:

– Кто?

– Иван Петрович!

– Кого?

– Ивана Парфеныча.

Посмеются и разойдутся.

Но теперь было не то. Город шумел, как во время ярмарки. Толпы мальчишек бегали по направлению к городскому выгону и назад; солидные люди в широких летних парусиновых и сырцовых шелковых костюмах направлялись туда же. Городские барышни с зонтиками, в разноцветных «панье» (тогда их носили) занимали собой всю ширину улицы, так

что катавшийся в кабриолете на сером в яблоках не коне, а звере молодой купец Рогачов должен был натягивать вожжи и почти прижиматься к мазаным стенам домов. Барышень сопровождали местные кавалеры в сереньких пальто с черными бархатными воротниками, с тросточками, в соломенных шляпах и – у кого были – в фуражках с кокардами. Братья Изотовы, коноводы всех общественных увеселений, умевшие во время кадрили кричать: «гранрон!» и «оребур!», неизменно присутствовали здесь, если не бегали по городу, сообщая знакомым дамам свежие новости.

– Из Валуйского уезда пришли! Полвыгона заняли, до самой реки, – говорил старший, Леонид.

– Я обозревал вид с вершины *пристена*, – прибавил младший, Константин, любивший выражаться изысканно. – Картина замечательная!

Пристенном назывался тот самый холм, откуда открывается вид на город и окрестности.

– Ах, какая мысль! Представьте! Знаете что: прикажем заложить линейку и поедем

на пристен. Это будет вроде пикника. И посмотрим оттуда.

Это предложение первой дамы Бельска, жены брата казначея (почти весь город звал ее мужа, Павла Ивановича, братом казначея), дамы, приехавшей лет восемь тому назад из Петербурга и потому владычицы мод и хорошего тона, встретило общее сочувствие. Заложили толстого гнедого в экипаж, который попадает только в уездных городах и состоит из длинных дрог с двумя длинными подножками, так что едущие помещаются в два ряда, по шести-семи человек в каждом, и сидят друг к другу спиной; компания человек в двенадцать уселась на него и поехала по городу, обгоняя отряды мальчишек, ряды барышень и толпы всякого иного народа, подвигавшиеся к выгону. Линейка, проехав по песчаным улицам города, переехала через мост и направилась к высокому правому берегу реки. Гнедой упорным шагом, морща лоснившуюся шкуру своих ляжек, взобрался на двухверстный подъем, и через полчаса путешественники сидели на краю заросшего кустами пятидесятисаженного крутого склона и смотрели

на знакомый вид. Внизу, под их ногами, под самой стеной, тихо текла подошедшая в этом месте река, а за нею расстилался выгон, на который и было устремлено общее внимание.

Он пестрел, как огромный ковер из лоскутьев. Видны были грязно-белые палатки, множество повозок, толпа пестрого народа: темные фигуры мужчин в кафтанах, серые грязные рубахи, яркие желтые и красные одежды женщин; толпа народа окружала все собравшиеся таборы цыган. Был чудный, немного жаркий и совершенно тихий день, на высоту, где сидели зрители, доносился говор тысячной толпы, тяжелые удары молота о мягкое железо, конское ржанье и рев десятков приведенных из нескольких уездов цыганских поильцев и кормильцев – ручных медведей.

Ольга Павловна смотрела на эту пестроту в бинокль и восхищалась:

– Ах, как это интересно! Какой большой! Посмотрите, Леонид, какой большой медведь, там, направо. И рядом с ним молодой цыган – совершенный Адонис.

Она передала бинокль молодому человеку, и он увидел фигуру стройного и очень грязно-

го юноши, который стоял около зверя, перева-  
ливавшегoся с лапы на лапу, и ласкал его.

– Позвольте и мне, – сказал толстый бри-  
тый господин в парусине и соломенной шля-  
пе. Он внимательно смотрел несколько вре-  
мени и, обернувшись к Ольге Павловне, ска-  
зал с тяжелым вздохом:

– Да-с, Ольга Павловна, Адонис. Но какой,  
я вам доложу, из этого Адониса конокрад вый-  
дет – первый сорт.

– Mon Dieu![10] вы непременно стараетесь  
перевести на прозу всякую поэзию. Почему  
конокрад? Я не хочу этому верить. Он так хо-  
рош.

– Хорош-то хорош... но как ему прикажете  
поддерживать свое прекрасное тело без этого  
медведя? Вот перебьют их завтра, и из этой  
тысячи цыган половина пойдет по миру.

– Они могут ковать, предсказывать...

– Предсказывать! Был у меня вчера Илья-  
коновал: вот поговорите с ним. «Хороши, го-  
ворит, у вас, Фома Фомич, серые, да только бе-  
регите от нашего брата». – «А что, говорю, не  
ты ли стащишь?» Ухмыляется, каналья! Пред-  
сказывать! Вот у него прорицания какие!



От линейки отвязали большую корзину, из которой появились яства и питья, и общество начало насыщаться, весело болтая и почти не обращая внимания на расстилавшуюся у их ног картину. Солнце садилось, огромная тень от холма быстро бежала на выгон, на город, на степь; очертания сглаживались, и, как это бывает на юге, день быстро сменился ночью. Далекие извивы реки заблестели холодным лунным светом; в городе показались огоньки; в цыганском таборе зажгли костры, красневшие сквозь туман, подымавшийся с уснувшей реки под пристенком. А наверху Константин и Леонид наперерыв рассказывали смешные анекдоты; Ольга Павловна изредка снисходительно улыбалась; барышни громко хихикали и иногда прыскали. Зажгли свечи в стеклянных колпаках; кучер и горничная раздували в кустах самовар, причем последняя по временам отчего-то взвизгивала, впрочем, весьма осторожно. Толстый Фома Фомич долго молчал и наконец перебил анекдот Леонида на самом интересном месте.

– Когда же, наконец, назначена эта медвежья казнь? – спросил он.

– В среду утром, – разом ответили братья Изотовы.

С четырех уездов сошлись несчастные цыгане со всем своим скарбом, с лошадьми и медведями. Больше сотни косолапых зверей, от маленьких медвежат до огромных стариков в поседевших и выцветших шкурах, было собрано на городском выгоне. Цыгане с ужасом ждали решительного дня. Многие, пришедшие первыми, жили на городском выгоне уже недели две; начальство ждало прихода всех переписанных к тому времени цыган, чтобы устроить разом большую казнь. Им было дано пять лет льготы после выхода закона, прекратившего промысел ручными медведями, и теперь срок этой льготы истек: цыгане должны были явиться в назначенные для сбора пункты и сами перебить своих кормильцев.

Они в последний раз совершали свой поход по деревням с знаменитою козою и ее ба- рабанщиком, непременно спутниками медведей. В последний раз, завидев, как они спускаются со степи в яр, где обыкновенно

расположены украинские слободы, толпа мальчишек и девчонок бежала к ним за версту навстречу и с ликованием возвращалась вместе с их нестройной толпой вниз, в слободу, где начиналось самое торжество.

Да, это было торжество! Они останавливались у кабака или у какой-нибудь хаты побогаче, а где была помещичья усадьба, то перед панским домом, и начиналось представление, лечение, торговля и мена, гаданье,ковка лошадей и починка телег; и чего-чего тут не было в долгий летний день до самого вечера, когда цыгане уходили за слободу, на толоку, растягивали там свои палатки или просто натягивали холстину на оглобли, зажигали костры и готовили себе ужин. И до поздней ночи вокруг табора стояла любопытная толпа.

– Ну, пора, пора, – говорит мне, маленькому мальчику, отец.

– Еще немножечко, еще немножечко!..

И отцу самому не хотелось уезжать. Мы сидели с ним на беговых дрожках; старый мерин Васька, повернув голову к огням и насторожив уши на медведей, стоял смирно, изредка фыркая; огни табора бросали дрожавший

красный свет и неопределенные колеблющиеся тени; легкий туман поднимался из лощины сбоку нас, а за табором расстилалась степь. Темные крылья ветряной мельницы рисовались на небе; за нею уходило безграничное таинственное пространство, окутанное серебристо-серым сумраком. Шум табора не заглушал тихих и чистых звуков степной ночи: то донесется из далекого пруда торжественный, звонкий хор лягушек, то звенящим треском раздастся мерный и торопливый крик дергача, то перепелы начнут кричать свое «пить пойдем! пить пойдем!», то откуда-то долетят непонятные, неведомые звуки, слабые и гармоничные; что это? звук ли далекого колокола, принесенный легким ветерком, или голос природы, языка которой мы не понимаем?...

Но в лагере все успокаивается; понемногу тушат ненужные огни; медведи, ворочаясь, звякают своими цепями и изредка глухо урчат под телегами, к которым прикованы; цыгане укладываются спать. Один из них отошел в сторону и горловым тенором запел странную песню на родном языке, не похо-

жую на песни московских цыган и опереточных певиц, своеобразную, дикую, заунывную, чуждую для уха, донесшуюся откуда-то из неизвестной темноты... Никто не знает, когда сложена она, какие степи, леса и горы породили ее; она осталась живым свидетелем старины, забытой и тем, кто поет ее теперь под чужим, горящим звездами небом, в чужих степях...

– Поедем, – говорит отец.

Застоявшийся Васька бодро трогается с места, и дрожки катятся по извилистой дороге вниз, в лощину; легкая пыль слабо взвивается из-под колес и тут же, будто сонная, падает на слегка росистую траву.

– Папа, знает ли кто-нибудь по-цыгански?

– Сами они, конечно, знают, а из других я не видел никого, кто умел бы говорить с ними.

– Я хотел бы научиться. Я хотел бы знать, что он пел... Папа, они язычники? Может быть, он пел про своих богов: как они жили, как воевали...

Мы возвратились домой, и я лежу под одеялом, а воображение все еще работает и со-

здает странные образы в маленькой голове, уже склонившейся на подушку.

Теперь по деревням уже не водят медведей. Да и цыгане стали редко бродить: большей частью они живут в тех местах, где приписаны, и только иногда, отдавая дань своей вековой привычке, выбираются куда-нибудь на выгон, натягивают закопченное полотно и живут целыми семьями, занимаясь ковкою лошадей, коновальством и барышничеством. Мне случалось видеть даже, что шатры уступали место на скорую руку сколоченным дощатым балаганам. Это было в губернском городе: недалеко от больницы и базарной площади, на клочке еще не застроенной земли, рядом с почтовой дорогой, цыгане устроили целый маленький городок. Только смуглые глазастые лица, курчавые волосы, грязная одежда мужчин, грязные яркие тряпки женщин и нагие бронзовые ребятишки напомнили мне былую картину вольного цыганского табора. Из балаганов слышался лязг железа; я заглянул в один из них: какой-то старик ковал подковы. Я посмотрел на его работу и увидел, что это уже не прежний цыган-куз-

нец, а простой мастеровой, взявший заказ и работающий, чтобы поскорее кончить его и навалить на себя новый. Он ковал подкову за подковой, отбрасывая их одну за другой в кучу в углу балагана; он работал с мрачным, сосредоточенным видом, сильно торопясь; это было днем; проходя уже довольно поздно вечером, я подошел к балагану и увидел старика за тем же делом. Это был уже фабричный. И странно было видеть цыганский табор почти внутри города, между земской больницей, базаром, острогом и каким-то плацем, где учились солдаты и поминутно раздавалось «на плечо! на краул!» – рядом с дорогой, с которой ветер поднимал тучи пыли, заноса ею и дощатые балаганы, и костры с котелками, в которых закутанные пестрыми платками цыганки варили какую-то кашу, и самих цыган, и их голых ребятишек.

Они шли по деревням, давая в последний раз свои представления. В последний раз медведи показывали свое артистическое искусство: плясали, боролись, показывали, как мальчишки горох воруют, как ходит молодичка и как старая баба; в последний раз они по-

лучали угощение в виде стаканчика водки, который медведь, стоя на задних лапах, брал обеими подошвами передних, прикладывал к своему мохнатому рылу и, опрокинув голову назад, выливал в пасть, после чего облизывался и выражал свое удовольствие тихим ревом, полным каких-то странных вздохов. В последний раз к цыганам приходили старики и старухи, чтобы полечиться верным, испытанным средством, состоявшим в том, чтобы лечь на землю под медведя, который ложился на пациента брюхом, широко растопыбив во все стороны по земле свои четыре лапы, и лежал, пока цыган не считал сеанса уже достаточно продолжительным. В последний раз их вводили в хаты, причем, если медведь добровольно соглашался войти, его вели в передний угол, и сажали там, и радовались его согласию, как доброму знаку; а если он, несмотря на все уговоры и ласки, не переступал порога, то хозяева печалились, а соседи говорили:

– Шось такè е! Бо вин зна!

Большая часть цыган пришла из западных уездов, так что им приходилось спускаться к



Бельску двухверстным спуском, и, завидев издали место своего несчастья, этот городок с его соломенными и железными крышами и двумя-тремя колокольнями, женщины принимались выть, дети плакать, а медведи из сочувствия, а может быть, — кто знает? — поняв из людских толков свою горькую участь, так реветь, что встречавшиеся обозы сворачивали с дороги в сторону, чтобы не слишком перепугать волов и лошадей, а сопровождавшие их собаки с визгом и трепетом забивались под самые возы, туда, где хохлы привязывают дегтярную *мазныцю* с квачем.

У ворот бельского исправника собралось несколько стариков цыган. Они приоделись, чтобы представиться начальству в приличном виде. На всех были черные или синие суконные бешметы с наборными серебряными с чернью поясами, шелковые рубахи с узеньким галуном по воротнику, плисовые шаровары, большие сапоги, у некоторых с расширенными и прорезанными узором голенищами, и большей частью барашковые шапки. Это убранство надевалось только в самых торже-

ственных случаях.

– Спит? – спросил высокий, прямой, пожелтевший от старости цыган выходявшего из двора городского, одного из одиннадцати, обязанных охранять порядок в городе Бельске.

– Встает, одевается. Сейчас позовут вас, – отвечал городской.

Старики, до тех пор неподвижно сидевшие и стоявшие, зашевелились и начали тихо разговаривать между собою. Старший вынул что-то из кармана шаровар; все окружили его и смотрели на предмет, находившийся в его руках.

– Ничего не будет, – сказал он наконец. – Разве он что может? Разве это от него? Это из Петербурга, сам министр приказал. По всем местам медведей бьют.

– Попробуем, Иван, может, как-нибудь... – ответил другой старик.

– Попробовать можно, – отвечал уныло Иван. – Только и денежки он наши возьмет и ничем не поможет.

Их позвали к исправнику. Они вошли толпою в переднюю, и, когда к ним вышел уса-

тый человек в расстегнутом полицейском мундире, из-под которого была видна красная канаусовая рубашка, старики упали ему в ноги. Они просили его, предлагая ему деньги. Многие плакали.

– Ваше высокоблагородие, – говорил Иван, – сами посудите, куда мы теперь подадимся? Были у нас медведи – жили мы смиренно, никого не обижали... Есть у нас молодцы, что и лихим делом промышляют; да, ваше высокоблагородие, разве конокрадов и русских мало? Никому от наших зверей обиды не было, всем утеха. Теперь же что будет? По миру должны мы идти, а не то ворами, бродягами быть. Отцы наши и деды медведей водили; земли мы пахать не умеем; кузнецы мы все, да ведь хорошо было кузнецами быть, за работой по всей земле ходя, а теперь работа к нам сама не пойдет. И будут наши молодцы ворами-конокрадами: некуда больше податься, ваше высокоблагородие. Как перед Богом говорю, не скрываюсь: большое зло сделали и нам и всем добрым людям, медведей у нас отнявши. Может, вы нам поможете; Бог вам за это пошлет, господин добрый!

Старик упал на колени и в ноги поклонился исправнику. Остальные сделали то же. Майор стоял с мрачным видом, поглаживая длинные усы и засунув другую руку в карман синих рейтуз. Старик достал довольно толстый кожаный бумажник и подал его.

– Не возьму, – мрачно сказал исправник. – Ничего не могу сделать.

– Да вы бы взяли, ваше высокоблагородие, – раздалось в толпе. – Может, что-нибудь... Вы бы написали.

– Не возьму, – громче прежнего сказал исправник. – Не за что. Ничего нельзя. Это закон... Вам пять лет льготы было дано... Что уж тут делать?...

И он развел руками.

Старики молчали. Исправник продолжал:

– Я сам знаю, какая это беда и вам и нам, – теперь только смотри за лошадьми; да что ж я могу поделывать? Ты, дед, спрячь деньги: я даром денег не беру. Вот попадутся мне ваши ребята с конями – не прогневайтесь, но брать даром не в моих правилах. Спрячь, спрячь, старик: вам деньги пригодятся.

– Ваше высокоблагородие, – сказал Иван,

все держа бумажник в руках, – дозволейте еще слово выговорить. Позвольте завтра... (его голос задрожал) позвольте завтра покончить. Истомились мы, измучились. Две недели я вот пришел со своими, прожились вовсе...

– Еще одной партии, старик, нет; надо подождать. У меня с вами тут и так весь город с ума сошел. Надо разом.

– Да пришли уже, ваше высокоблагородие: как мы к вам пошли – с горы спускались. Сделай такую милость, господин! Не томи ты нас.

– Ну, если пришли, так завтра, часов в десять, я к вам приеду. Ружья у вас есть?

– Есть ружья, да не у всех.

– Хорошо, я попрошу полковника дать из команды. С Богом! Жаль мне вас, очень жаль.

Старики пошли к двери, но исправник окликнул их:

– Пойдите, эй, вы! Вот я вам что скажу: вы пойдите к аптекарю, Фоме Фомичу, – знаете аптеку, подле собора? – пойдите, скажите, что я вас послал. Он у вас все сало медвежье скупит: ему оно в мазь пойдет. И шкуры, может быть. Хорошую цену даст; не пропадать же

им так, в самом деле.

Цыгане поблагодарили и толпою отправились в аптеку. Разрывались их сердца; почти без торга продали они смертные останки своих друзей. Фома Фомич скупил все сало по четырнадцать копеек, а о шкурах обещал поговорить после. Случившийся тут же купец Рогачов, надеясь сделать хорошую аферу, торговал все медвежьи окорока по пятаку за фунт.

Вечером того же дня братья Изотовы прибежали запыхавшись к казначееву брату.

– Ольга Павловна, Ольга Павловна, назначили на завтра! Все пришли! Уже и ружья полковник дал, – говорили они наперерыв. – Фома Фомич купил все сало по четырнадцать копеек фунт. Рогачов окорока...

– Пойдите, пойдите, Леонид, – перебила Ольга Павловна, – зачем Фоме Фомичу медвежье сало?

– Для мазей; превосходная помада для рощения волос.

И при этом Константин рассказал интересный анекдот о том, как некоторый лысый господин, намазывая себе голову медвежьим

жиром, вырастил себе волосы на руках.

– И должен был брить их каждые два дня, – заключил Леонид, причем оба брата разразились хохотом.

Ольга Павловна улыбнулась и задумалась. Она уже давно носила шиньон, и сведения о медвежьем сале пришлись ей по сердцу; и когда вечером аптекарь Фома Фомич пришел сыграть пультку с ее мужем и казначеем, она издали завела разговор и ловко вынудила у него обещание прислать ей медвежьей помады.

– Непременно-с, непременно-с, Ольга Павловна. Даже с духами. Вы что предпочитаете – пачули или иланг-иланг?

Настало пасмурное, холодное, настоящее сентябрьское утро. Изредка накрапывал мелкий дождь, но, несмотря на него, множество зрителей обоего пола и всех возрастов пришли на луг посмотреть интересное зрелище. Город почти опустел. Все наличные экипажи: одна имевшаяся в городе карета, несколько фаэтонов, дрожек и линеек – были заняты перевозкой любопытных; они доставляли их к

табору и возвращались в город за новыми партиями. К десяти часам все уже собрались.

Цыгане потеряли всякую надежду. В лагере не было большого шума: женщины забились в шатры вместе с малыми ребятами, чтобы не видеть казни, и только изредка из которого-нибудь из них вырывался отчаянный вопль; мужчины лихорадочно делали последние приготовления. Они откатывали к краю становища телеги и привязывали к ним зверей.

Исправник с Фомой Фомичом прошлись вдоль ряда осужденных. Медведи были не совсем спокойны: необыкновенная обстановка, странные приготовления, огромная толпа, большое скопление их самих в одном месте – все приводило их в возбужденное состояние; они порывисто метались на своих цепях или грызли их, глухо рыча. Старый Иван стоял возле своего огромного кривого медведя. Его сын, пожилой цыган, уже с серебристой проседью в черных волосах, и внук, тот самый юноша – Адонис, на которого обратила свое внимание Ольга Павловна, с помертвевшими лицами и горящими глазами торопливо при-



вязывали медведя.

Исправник поравнялся с ними.

– Ну, старик, – сказал он, – прикажи ребятам, чтоб начинали.

Толпа зрителей заволновалась, поднялся говор, крики, но скоро все стихло, и среди мертвой тишины раздался негромкий, но важный голос. Это говорил старик Иван.

– Дозволь, господин добрый, сказать мне слово. Прошу вас, братья, дайте мне первому покончить. Старше я всех вас: девяносто лет через год мне стукнет, а медведей вожу я сызмала. И во всем таборе нету зверя старше моего.

Он опустил седую курчавую голову на грудь, горько покачал ею и вытер кулаком глаза. Потом он выпрямился, поднял голову и продолжал громче и тверже прежнего:

– Потому и хочу я первый покончить. Думал я, что не доживу до такого горя, думал, и медведь мой любимый не доживет, да, видно, не судьба: своей рукой должен я убить его, кормильца своего и благодетеля. Отвяжите его, пустите на волю. Никуда не пойдет он: нам с ним, старикам, от смерти не бегать. От-

вяжи его, Вася: не хочу убивать его, как скота на привязи. Не бойтесь, – сказал он зашумевшей толпе, – не тронет он никого.

Юноша отвязал огромного зверя и отвел немного от телеги. Медведь уселся на задние лапы, спустив передние вниз, и раскачивался из стороны в сторону, тяжело вздыхая и хрипя. Он был действительно очень стар; его зубы были желты, шкура порыжела и вылезла; он дружелюбно и печально смотрел на своего старого хозяина единственным маленьким глазом. Кругом была мертвая тишина. Слышно было только, как звякали о стволы и тупо стучали о пыжи шомполы заряжаемых винтовок.

– Дайте ружье, – твердо сказал старик.

Сын подал ему винтовку. Он взял ее и, прижимая к груди, начал говорить снова, обращаясь к медведю:

– Убью я тебя сейчас, Потап. Дай Боже, чтоб старая рука моя не дрожала, чтобы попала тебе пуля в самое сердце. Не хочу я мучить тебя, не того ты заслужил, медведь мой старый, товарищ мой добрый. Взял я тебя маленьким медвежонком, глаз у тебя был выколот, нос от

кольца гнил, болел ты и чах; я за тобой, как за сыном, ходил и жалел тебя, и вырос ты большим и сильным медведем; нет другого такого во всех таборах, что здесь собрались. И вырос ты и не забыл добра моего: между людьми у меня друга такого, как ты, не было. Ты добр, и смирен был, и понятлив, и всему выучился, и не видел я зверя добрее и понятливее. Что я был без тебя? Твоею работою вся семья моя жива. Ты справил мне две тройки коней, ты мне хату на зиму выстроил. Больше еще сделал ты: сына моего от солдатчины избавил. Большая наша семья, и всех, от старого до малого младенца, ты в ней до сих пор кормил и берег. И любил я тебя крепко и не бил больно, а если виноват в чем перед тобою, прости меня, в ноги тебе кланяюсь.

Он повалился медведю в ноги. Зверь тихо и жалобно зарычал. Старик рыдал, вздрагивая всем телом.

– Бей, батюшка! – сказал ему сын. – Не рви нам сердце.

Иван поднялся. Слезы больше не текли из его глаз. Он отвел со лба упавшую на него свою седую гриву и продолжал твердым и

ЗВОНКИМ ГОЛОСОМ:

– И вот теперь я убить тебя должен... Приказали мне, старик, застрелить тебя своей рукой; нельзя тебе больше жить на свете. Что же? Пусть Бог на небе рассудит нас с ними.

Он взвел курок и твердой еще рукой прицелился в зверя, в грудь, под левую лапу. И медведь понял. Из его пасти вырвался жалобный отчаянный рев; он встал на дыбы, подняв передние лапы и как будто закрывая ими себе глаза, чтобы не видеть страшного ружья. Вопль раздался между цыганами: в толпе многие плакали; старик с рыданием бросил ружье о землю и бессильно повалился на него. Сын бросился подымать его, а внук схватил ружье.

*И, подбежав к зверю, он приложил дуло в упор к его уху и выстрелил.*

*Медведь рухнул безжизненной массой.*

– Будет! – закричал он диким, исступленным голосом, сверкая глазами. – Довольно. Бей, братцы, один конец!

И, подбежав к зверю, он приложил дуло в упор к его уху и выстрелил. Медведь рухнул безжизненной массой; только лапы его судорожно



рожно вздрогнули, и пасть раскрылась, как будто зевая. По всему табору затрещали выстрелы, заглушаемые отчаянным воем женщин и детей. Легкий ветер относил дым к реке.

– Сорвался! сорвался! – раздалось в толпе.

Как стадо испуганных овец, все кинулись врассыпную. Исправник, толстый Фома Фомич, мальчишки, Леонид и Константин, барышни – все бежало в паническом страхе, натываясь на шатры, на повозки, падая друг на друга и крича. Ольга Павловна едва не упала в обморок, но страх придал ей сил, и она, подняв платье, бежала по лугу, не думая о беспорядке в костюме, причиненном поспешным бегством. Лошади, запряженные в ожидавшие господ экипажи, начали беситься и понеслись в разные стороны. Но опасность была вовсе не так велика. Обезумевший от ужаса зверь, не старый еще темно-бурый медведь, с обрывком цепи на шее, бежал с удивительной легкостью; перед ним все расступалось, и он мчался как ветер прямо к городу. Несколько цыган с ружьями бежали за ним. Попадавшиеся на улице немногие пешеходы прижи-

мались к стенам, если не успевали спрятаться в ворота. Ставни запирались; все живое попряталось; исчезли даже собаки.

Медведь несся мимо собора, по главной улице, иногда кидаясь в сторону, как бы отыскивая себе место, куда бы спрятаться, но все было заперто. Он промчался мимо лавок, встреченный неистовым криком приказчиков, которые хотели его испугать, пролетел мимо банка, прогимназии, казармы уездной команды, на другой конец города, выбежал на дорогу на берег реки и остановился. Преследователи отстали, но скоро из улицы показалась толпа уже не одних цыган. Исправник и полковник ехали на дрожках, с ружьями в руках;

цыгане и взвод солдат поспевали за ними бегом. У самых дрожек бежали Леонид и Константин.

– Вот он, вот он! – закричал исправник. – Жарь, катай его!

Раздались выстрелы. Одна из пуль задела зверя; в смертельном страхе он побежал быстрее прежнего. За версту от города, вверх по Рохле, куда бежал он, находится большая

водяная мельница, со всех сторон окруженная небольшим, но густым лесом; зверь направлялся туда. Но, запутавшись в рукавах реки и плотинах, он сбился с дороги; широкое пространство воды отделяло его от густой дубовой заросли, где он, может быть, мог бы найти если не спасение, то отсрочку. Но он не решился плыть. На этой стороне густо разросся странный кустарник, растущий только в южной России, так называемый люциум. Его длинные, гибкие, неветвистые стебли растут так густо, что человеку почти невозможно пройти сквозь заросль; но у корней есть щели и прогалины, в которые могут пролезать собаки, а так как они часто ходят туда спасаться от жары и понемногу расширяют проход своими боками, то в густой заросли образуется со временем целый лабиринт ходов. Туда и кинулся медведь. Мукосеи, смотревшие на него из верхнего этажа мельницы, видели это, и когда прибежала запыхавшаяся и измученная погоня, исправник приказал оцепить место, где скрылся зверь.

Несчастный забился в самую глубину кустов; рана его от пули, сидевшей у него в ляж-



ке, сильно болела; он свернулся в комок, уткнув морду в лапы, и лежал неподвижно, оглушенный, обезумевший от страха, лишавшего его возможности защищаться. Солдаты стреляли в кусты, думая задеть его и заставить зареветь, но попасть наугад было трудно.

Его убили уже поздно вечером, выгнав из убежища огнем. Всякий, у кого было ружье, считал долгом всадить пулю в издыхающего зверя, и когда с него сняли шкуру, она никуда не годилась.

Недавно мне случилось побывать в Бельске. Город почти не изменился: только банк лопнул да прогимназия превратилась в гимназию. Исправника сменили, дав ему за распорядительность место частного пристава в губернском городе; братья Изотовы по-прежнему кричат «гранрон» и «оребур» и бегают по городу с рассказами о самых свежих новостях; аптекарь Фома Фомич потолстел еще больше и, несмотря на то, что сделал выгодное дело, скупив медвежье сало по четырнадцати копеек, а продав его по восьми гривен

фунт, что дало в целом немалую сумму, до сих пор с большим неудовольствием говорит об избиении медведей.

– Говорил я вот тогда Ольге Павловне, какой из этого Адониса конокрад выйдет... Ну, и что же? Недели не прошло – свел мою пару серых, мерзавец.

– А вы знаете, что это он? – спросил я.

– Как же не он? Ведь его судили в прошлом году за конокрадство и разбой. На каторгу пошел.

– Ах, как мне было его жаль! – грустно сказала Ольга Павловна.

Бедная дама порядочно постарела за эти годы и, несмотря на то, что, по словам Фомы Фомича (который сказал мне это по секрету), она вымазала на свою голову фунта четыре медвежьей помады, волосы ее не только не стали гуще, но даже поредели. Впрочем, шиньон так хорошо закрывает их, что решительно ничего не заметно.

1883

# Сказка о жабе и розе

**Ж**или на свете роза и жаба.

Розовый куст, на котором расцвела роза, рос в небольшом полукруглом цветнике перед деревенским домом. Цветник был очень запущен; сорные травы густо разрослись по старым, вросшим в землю клумбам и по дорожкам, которых уже давно никто не чистил и не посыпал песком. Деревянная решетка с колышками, обделанными в виде четырехгранных пик, когда-то выкрашенная зеленой масляной краской, теперь совсем облезла, рассохлась и развалилась; пики растащили для игры в солдаты деревенские мальчишки и, чтобы отбиваться от сердитого барбоса с компаниею прочих собак, подходившие к дому мужики.

А цветник от этого разрушения стал несколько не хуже. Остатки решетки заплели хмель, повилика с крупными белыми цветами и мышиный горошек, висевший целыми бледно-зелеными кучками, с разбросанными кое-где бледно-лиловыми кисточками цветов. Колючие чертополохи на жирной и влажной

почве цветника (вокруг него был большой тенистый сад) достигали таких больших размеров, что казались чуть не деревьями. Желтые корвяки подымали свои усаженные цветами стрелки еще выше их. Крапива занимала целый угол цветника; она, конечно, жглась, но можно было и издали любоваться ее темною зеленью, особенно когда эта зелень служила фоном для нежного и роскошного бледного цветка розы.

Она распустилась в хорошее майское утро; когда она раскрывала свои лепестки, улетавшая утренняя роса оставила на них несколько чистых, прозрачных слезинок. Роза точно плакала. Но вокруг нее все было так хорошо, так чисто и ясно в это прекрасное утро, когда она в первый раз увидела голубое небо и почувствовала свежий утренний ветерок и лучи сиявшего солнца, проникавшего ее тонкие лепестки розовым светом; в цветнике было так мирно и спокойно, что если бы она могла в самом деле плакать, то не от горя, а от счастья жить. Она не могла говорить; она могла только, склонив свою головку, разливать вокруг себя тонкий и свежий запах, и этот запах

был ее словами, слезами и молитвой.

А внизу, между корнями куста, на сырой земле, как будто прилипнув к ней плоским брюхом, сидела довольно жирная старая жаба, которая проохотилась целую ночь за червяками и мошками и под утро уселась отдыхать от трудов, выбрав местечко потенистее и посырее. Она сидела, закрыв перепонками свои жабыи глаза, и едва заметно дышала, раздувая грязно-серые бородавчатые и липкие бока и отставив одну безобразную лапу в сторону: ей было лень подвинуть ее к брюху. Она не радовалась ни утру, ни солнцу, ни хорошей погоде; она уже наелась и собралась отдыхать.

Но когда ветерок на минуту стихал и запах розы не уносился в сторону, жаба чувствовала его, и это причиняло ей смутное беспокойство; однако она долго ленилась посмотреть, откуда несетя этот запах.

В цветник, где росла роза и где сидела жаба, уже давно никто не ходил. Еще в прошлом году осенью, в тот самый день, когда жаба, отыскав себе хорошую щель под одним из камней фундамента дома, собиралась залезть

туда на зимнюю спячку, в цветник в последний раз зашел маленький мальчик, который целое лето сидел в нем каждый ясный день под окном дома. Взрослая девушка, его сестра, сидела у окна; она читала книгу или шила что-нибудь и изредка поглядывала на брата. Он был маленький мальчик лет семи, с большими глазами и большой головой на худеньком теле. Он очень любил свой цветник (это был его цветник, потому что, кроме него, почти никто не ходил в это заброшенное местечко) и, придя в него, садился на солнышке, на старую деревянную скамейку, стоявшую на сухой песчаной дорожке, уцелевшей около самого дома, потому что по ней ходили закрывать ставни, и начинал читать принесенную с собой книжку.

– Вася, хочешь, я тебе брошу мячик? – спрашивает из окна сестра. – Может быть, ты с ним побегаешь?

– Нет, Маша, я лучше так, с книжкой.

И он сидел долго и читал. А когда ему надоело читать о Робинзонах, и диких странах, и морских разбойниках, он оставлял раскрытую книжку и забирался в чащу цветни-

ка. Тут ему был знаком каждый куст и чуть ли не каждый стебель. Он садился на корточках перед толстым, окруженным мохнатыми беловатыми листьями стеблем коровяка, который был втрое выше его, и подолгу смотрел, как муравьиный народ бегаёт вверх к своим коровам – травяным тлям, как муравей деликатно трогает тонкие трубочки, торчащие у тлей на спине, и подбирает чистые капельки сладкой жидкости, показывавшиеся на кончиках трубочек. Он смотрел, как навозный жук хлопотливо и усердно тащит куда-то свой шар, как паук, раскинув хитрую радужную сеть, сторожит мух, как ящерица, раскрыв тупую мордочку, сидит на солнце, блестя зелеными щитиками своей спины; а один раз, под вечер, он увидел живого ежа! Тут и он не мог удержаться от радости и чуть было не закричал и не захлопал руками, но, боясь спугнуть колючего зверька, притаил дыхание и, широко раскрыв счастливые глаза, в восторге смотрел, как тот, фыркая, обнюхивал своим свиным рыльцем корни розового куста, ища между ними червей, и смешно перебирал толстенными лапами, похожими на

медвежьи.

– Вася, милый, иди домой, сыро становится, – громко сказала сестра.

И ежик, испугавшись человеческого голоса, живо надвинул себе на лоб и на задние лапы колючую шубу и превратился в шар. Мальчик тихонько коснулся его колючек; зверек еще больше съежился и глухо и торопливо запыхтел, как маленькая паровая машина.

Потом он немного познакомился с этим ежиком. Он был такой слабый, тихий и кроткий мальчик, что даже разная звериная мелкота как будто понимала это и скоро привыкала к нему. Какая была радость, когда еж попробовал молока из принесенного хозяином цветника блюдечка!

В эту весну мальчик не мог выйти в свой любимый уголок. По-прежнему около него сидела сестра, но уже не у окна, а у его постели; она читала книгу, но не для себя, а вслух ему, потому что ему было трудно поднять свою исхудалую голову с белых подушек и трудно держать в тощих руках даже самый маленький томик, да и глаза его скоро утомлялись от чтения. Должно быть, он уже больше никогда



не выйдет в свой любимый уголок.

– Маша! – вдруг шепчет он сестре.

– Что, милый?

– Что, в садике теперь хорошо? Розы расцвели?

Сестра наклоняется, целует его в бледную щеку и при этом незаметно стирает слезинку.

– Хорошо, голубчик, очень хорошо. И розы расцвели. Вот в понедельник мы пойдем туда вместе. Доктор позволит тебе выйти.

Мальчик не отвечает и глубоко вздыхает. Сестра начинает снова читать.

– Уже будет. Я устал. Я лучше посплю.

Сестра поправила ему подушки и белое одеяльце; он с трудом повернулся к стенке и замолчал. Солнце светило сквозь окно, выходящее на цветник, и кидало яркие лучи на постель и на лежавшее на ней маленькое тельце, освещая подушки и одеяло и золотя коротко стриженные волосы и худенькую шею ребенка.

Роза ничего этого не знала; она росла и красовалась; на другой день она должна была распуститься полным цветом, а на третий начать вянуть и осыпаться. Вот и вся розовая

жизнь! Но и в эту короткую жизнь ей довелось испытать немало страха и горя.

Ее заметила жаба.

Когда она в первый раз увидела цветок своими злыми и безобразными глазами, что-то странное зашевелилось в жабьем сердце. Она не могла оторваться от нежных розовых лепестков и все смотрела и смотрела. Ей очень понравилась роза, она чувствовала желание быть поближе к такому душистому и прекрасному созданию. И чтобы выразить свои нежные чувства, она не придумала ничего лучше таких слов:

– Пстой, – прохрипела она, – я тебя слопаю!

Роза содрогнулась. Зачем она была прикреплена к своему стебельку? Вольные птички, щебетавшие вокруг нее, перепрыгивали и перелетали с ветки на ветку; иногда они уносились куда-то далеко, куда – не знала роза. Бабочки тоже были свободны. Как она завидовала им! Будь она такою, как они, она вспорхнула бы и улетела от злых глаз, преследовавших ее своим пристальным взглядом. Роза не знала, что жабы подстерегают иногда

и бабочек.

– Я тебя слопаю! – повторила жаба, стараясь говорить как можно нежнее, что вышло еще ужаснее, и переползла поближе к розе.

– Я тебя слопаю! – повторяла она, все глядя на цветок.

И бедное создание с ужасом увидело, как скверные липкие лапы цепляются за ветви куста, на котором она росла. Однако жабе лезть было трудно: ее плоское тело могло свободно ползать и прыгать только по ровному месту. После каждого усилия она глядела вверх, где качался цветок, и роза замирала.

– Господи! – молилась она. – Хоть бы умереть другою смертью!

А жаба все карабкалась выше. Но там, где кончались старые стволы и начинались молодые ветви, ей пришлось немного пострадать. Темно-зеленая гладкая кора розового куста была вся усажена острыми и крепкими шипами. Жаба переколола себе о них лапы и брюхо и, окровавленная, свалилась на землю. Она с ненавистью посмотрела на цветок...

– Я сказала, что я тебя слопаю! – повторила

она.

Наступил вечер; нужно было подумать об ужине, и раненая жаба поплелась подстерегать неосторожных насекомых. Злость не мешала ей набить себе живот, как всегда; ее царапины были не очень опасны, и она решилась, отдохнув, снова добираться до привлекавшего ее и ненавистного ей цветка.

Она отдыхала довольно долго. Наступило утро, прошел полдень, роза почти забыла о своем враге. Она совсем уже распустилась и была самым красивым созданием в цветнике. Некому было прийти полюбоваться ею: маленький хозяин неподвижно лежал на своей постельке, сестра не отходила от него и не показывалась у окна. Только птицы и бабочки сновали около розы да пчелы, жужжа, садились иногда в ее раскрытый венчик и вылетали оттуда, совсем косматые от желтой цветочной пыли. Прилетел соловей, забрался в розовый куст и запел свою песню. Как она была не похожа на хрипение жабы! Роза слушала эту песню и была счастлива: ей казалось, что соловей поет для нее, а может быть, это была и правда. Она не видела, как ее враг

незаметно взбирался на ветки. На этот раз жаба уже не жалела ни лапок, ни брюха: кровь покрывала ее, но она храбро лезла все вверх – и вдруг, среди звонкого и нежного рокота соловья, роза услышала знакомое хрипение:

– Я сказала, что слопаю, и слопаю!

Жабьи глаза пристально смотрели на нее с соседней ветки. Злому животному оставалось только одно движение, чтобы схватить цветок. Роза поняла, что погибает...

Маленький хозяин уже давно неподвижно лежал на постели. Сестра, сидевшая у изголовья в кресле, думала, что он спит. На коленях у нее лежала развернутая книга, но она не читала ее. Понемногу ее усталая голова склонилась: бедная девушка не спала несколько ночей, не отходя от больного брата, и теперь слегка задремала.

– Маша, – вдруг прошептал он.

Сестра встрепенулась. Ей приснилось, что она сидит у окна, что маленький брат играет, как в прошлом году, в цветнике и зовет ее. Открыв глаза и увидев его в постели, худого и

слабого, она тяжело вздохнула.

– Что, милый?

– Маша, ты мне сказала, что розы расцвели! Можно мне... одну?

– Можно, голубчик, можно! – Она подошла к окну и посмотрела на куст. Там росла одна, но очень пышная роза.

– Как раз для тебя распустилась роза, и какая славная! Поставить тебе ее сюда на столик в стакане? Да?

– Да, на столик. Мне хочется.

Девушка взяла ножницы и вышла в сад. Она давно уже не выходила из комнаты; солнце ослепило ее, и от свежего воздуха у нее слегка закружилась голова. Она подошла к кусту в то самое мгновение, когда жаба хотела схватить цветок.

– Ах, какая гадость! – вскрикнула она. И, схватив ветку, она сильно потрянула ее: жаба свалилась на землю и шлепнулась брюхом. В ярости она было прыгнула на девушку, но не могла подскочить выше края платья и тотчас далеко отлетела, отброшенная носком башмака. Она не посмела попробовать еще раз и только издали видела, как девушка осторож-

но срезала цветок и понесла его в комнату.



*Когда мальчик увидел сестру с цветком в руке, то в первый раз после долгого времени слабо улыбнулся и с трудом сделал движение худенькой рукой.*

Когда мальчик увидел сестру с цветком в руке, то в первый раз после долгого времени слабо улыбнулся и с трудом сделал движение худенькой рукой.

– Дай ее мне, – прошептал он. – Я понюхаю.

Сестра вложила стебелек ему в руку и помогла подвинуть ее к лицу. Он вдыхал в себя нежный запах и, счастливо улыбаясь, прошептал:

– Ах, как хорошо...

Потом его личико сделалось серьезным и неподвижным, и он замолчал... навсегда.

Роза, хотя и была срезана прежде, чем начала осыпаться, чувствовала, что ее срезали не даром. Ее поставили в отдельном бокале у маленького гробика. Тут были целые букеты и других цветов, но на них, по правде сказать, никто не обращал внимания, а розу молодая девушка, когда ставила ее на стол, поднесла к губам и поцеловала. Маленькая слезинка упала с ее щеки на цветок, и это было самым луч-



шим происшествием в жизни розы. Когда она начала вянуть, ее положили в толстую старую книгу и высушили, а потом, уже через много лет, подарили мне. Потому-то я и знаю всю эту историю.

*1884*

# Сигнал

Семен Иванов служил сторожем на железной дороге. От его будки до одной станции было двенадцать, до другой – десять верст. Верстах в четырех в прошлом году открыли большую прядильню; из-за лесу ее высокая труба чернела, а ближе, кроме соседних будок, и жилья не было.

Семен Иванов был человек больной и разбитый. Девять лет тому назад он побывал на войне: служил в денщиках у офицера и целый поход с ним сделал. Голодал он, и мерз, и на солнце жарился, и переходы делал по сорока и по пятидесяти верст в жару и в мороз; случалось и под пулями бывать, да, слава Богу, ни одна не задела. Стоял раз полк в первой линии; целую неделю с турками перестрелка была: лежит наша цепь, а через лощинку – турецкая, и с утра до вечера постреливают. Семенов офицер тоже в цепи был; каждый день три раза носил ему Семен из полковых кухонь, из оврага, самовар горячий и обед. Идет с самоваром по открытому месту, пули свистят, в камни щелкают; страшно Семену, пла-

чет, а сам идет. Господа офицеры очень довольны им были: всегда у них горячий чай был. Вернулся он из похода целый, только руки и ноги ломить стало. Немало горя пришлось ему с тех пор отведать. Пришел он домой – отец-старик помер; сынишка был по четвертому году – тоже помер, горлом болел; остался Семен с женой сам-друг. Не задалось им и хозяйство, да и трудно с пухлыми руками и ногами землю пахать. Пришлось им в своей деревне невтерпеж; пошли на новые места счастья искать. Побывал Семен с женой и на Линии, и в Херсоне, и в Донщине; нигде счастья не достали. Пошла жена в прислуги, а Семен по-прежнему все бродит. Пришлось ему раз по машине ехать; на одной станции видит – начальник будто знакомый. Глядит на него Семен, и начальник тоже в Семеново лицо всматривается. Узнали друг друга: офицер своего полка оказался.

– Ты Иванов? – говорит.

– Так точно, ваше благородие, я самый и есть.

– Ты как сюда попал?

Рассказал ему Семен: так, мол, и так.

– Куда ж теперь идешь?

– Не могу знать, ваше благородие.

– Как так, дурак, не можешь знать?

– Так точно, ваше благородие, потому по-  
даться некуда. Работы какой, ваше благо-  
родие, искать надобно.

Посмотрел на него начальник станции, по-  
думал и говорит:

– Вот что, брат, оставайся-ка ты покудова  
на станции. Ты, кажется, женат? Где у тебя  
жена?

– Так точно, ваше благородие, женат; жена  
в городе Курске, у купца в услужении нахо-  
дится.

– Ну, так пиши жене, чтобы ехала. Билет  
даровой выхлопочу. Тут у нас дорожная будка  
очистится; уж попрошу за тебя начальника  
дистанции.

– Много благодарен, ваше благородие, – от-  
ветил Семен.

Остался он на станции. Помогал у началь-  
ника на кухне, дрова рубил, двор, платформу  
мел. Через две недели приехала жена, и по-  
ехал Семен на ручной тележке в свою будку.  
Будка новая, теплая, дров сколько хочешь;

огород маленький от прежних сторожей остался, и земли с полдесятины пахотной по бокам полотна было. Обрадовался Семен; стал думать, как свое хозяйство заведет, корову, лошадь купит.

Дали ему весь нужный припас: флаг зеленый, флаг красный, фонари, рожок, молот, ключ – гайки подвинчивать, лом, лопату, металл, болтов, костылей; дали две книжечки с правилами и расписание поездов. Первое время Семен ночи не спал, все расписание твердил; поезд еще через два часа пойдет, а он обойдет свой участок, сядет на лавочку у будки и все смотрит и слушает, не дрожат ли рельсы, не шумит ли поезд. Вытвердил он наизусть и правила; хоть и плохо читал, по складам, а все-таки вытвердил.

Дело было летом; работа нетяжелая, снегу отгрести не надо, да и поезда на той дороге редко. Обойдет Семен свою версту два раза в сутки, кое-где гайки попробует подвинтить, щебенку подровняет, водяные трубы посмотрит и идет домой хозяйство свое устраивать. В хозяйстве только у него помеха была: что ни задумает сделать, обо всем дорожного ма-

стера проси, а тот начальнику дистанции доложит; пока просьба вернется, время и ушло. Стали Семен с женою даже сучать.

Прошло времени месяца два; стал Семен с соседями-сторожами знакомиться. Один был старик древний; все сменить его собирались: едва из будки выбирался. Жена за него и обход делала. Другой будочник, что поближе к станции, был человек молодой, из себя худой и жилистый. Встретились они с Семеном в первый раз на полотне, посередине между будками, на обходе; Семен шапку снял, поклонился.

– Доброго, – говорит, – здоровья, сосед.

Сосед поглядел на него сбоку.

– Здравствуй, – говорит.

Повернулся и пошел прочь. Бабы после между собою встретились. Поздоровалась Семенова Арина с соседкой; та тоже разговаривать много не стала, ушла. Увидел раз ее Семен.

– Что это, – говорит, – у тебя, молодница, муж неразговорчивый?

Помолчала баба, потом говорит:

– Да о чем ему с тобой разговаривать? У

всякого свое... Иди себе с Богом.

Однако прошло еще времени с месяц, познакомились. Сойдутся Семен с Василием на полотне, сядут на край, трубочки покуривают и рассказывают про свое житье-бытье. Василий все больше помалчивал, а Семен и про деревню свою и про поход рассказывал.

– Немало, – говорит, – я горя на своем веку принял, а веку моего не Бог весть сколько. Не дал Бог счастья. Уж кому какую талан-судьбу Господь даст, так уж и есть. Так-то, братец, Василий Степаныч.

А Василий Степаныч трубку об рельс выколоти, встал и говорит:

– Не талан-судьба нам с тобою век заедает, а люди. Нету на свете зверя хищнее и злее человека. Волк волка не ест, а человек человека живьем съедает.

– Ну, брат, волк волка ест, это ты не говори.

– К слову пришлось, и сказал. Все-таки нету твари жесточе. Не людская бы злость да жадность – жить бы можно было. Всякий тебя за живое ухватить норовит, да кус откусить, да слопать.

Задумался Семен.

– Не знаю, – говорит, – брат. Может, оно так, а коли и так, так уж есть на то от Бога положение.

– А коли так, – говорит Василий, – так нечего нам с тобой и разговаривать. Коли всякую скверность на Бога взваливать, а самому сидеть да терпеть, так это, брат, не человеком быть, а скотом. Вот тебе мой сказ.

Повернулся и пошел, не простившись. Встал и Семен.

– Сосед, – кричит, – за что же ругаешься?

Не обернулся сосед, пошел. Долго смотрел на него Семен, пока на выемке на повороте стало Василия не видно. Вернулся домой и говорит жене:

– Ну, Арина, и сосед же у нас: зелье, не человек.

Однако не поссорились они; встретились опять и по-прежнему разговаривать стали, и все о том же.

– Э, брат, кабы не люди... не сидели бы мы с тобою в будках этих, – говорит Василий.

– Что ж в будке... ничего, жить можно.

– Жить можно, жить можно... Эх, ты! Много жил, мало нажил, много смотрел, мало



увидел. Бедному человеку, в будке там или где, какое уж житье! Едят тебя живодеры эти. Весь сок выжимают, а стар станешь – выбросят, как жмыху какую, свиньям на корм. Ты сколько жалованья получаешь?

– Да маловато, Василий Степанович. Двенадцать рублей.

– А я тринадцать с полтиной. Позволь тебя спросить, почему? По правилу от правления всем одно полагается: пятнадцать целковых в месяц, отопление, освещение. Кто же это нам с тобой двенадцать или там тринадцать с полтиной определил? Чьему брюху на сало, в чей карман остальные три рубля или же полтора полагаются? Позволь тебя спросить?... А ты говоришь, жить можно! Ты пойми, не об полторах там или трех рублях разговор идет. Хоть бы и все пятнадцать платили. Был я на станции в прошлом месяце; директор проезжал, так я его видел. Имел такую честь. Едет себе в отдельном вагоне; вышел на платформу, стоит, цепь золотую распустил по животу, щеки красные, будто налитые... Напился нашей крови. Эх, кабы сила да власть!.. Да не останусь я здесь долго; уйду куда глаза глядят.

– Куда же ты уйдешь, Степаныч? От добра добра не ищут. Тут тебе и дом, тепло, и землицы маленько. Жена у тебя работница...

– Землицы! Посмотрел бы ты на землю мою. Ни прута на ней нету. Посадил было весной капустки, так и то дорожный мастер приехал. «Это, говорит, что такое? Почему без дозволения? Почему без разрешения? Выкопать, чтоб и духу ее не было». Пьяный был. В другой раз ничего бы не сказал, а тут втемяшилось... «Три рубля штрафу!..»

Помолчал Василий, потянул трубочки и говорит тихо:

– Немного еще, зашиб бы я его до смерти.  
– Ну, сосед, и горяч ты, я тебе скажу.  
– Не горяч я, а по правде говорю и размышляю. Да еще дождется он у меня, красная рожка! Самому начальнику дистанции жаловаться буду. Посмотрим!

И точно, пожаловался.

Проезжал раз начальник дистанции путь осматривать. Через три дня после того господ важные из Петербурга должны были по дороге проехать: ревизию делали, так перед их проездом все надо было в порядок привести.

Балласту подсыпали, подровняли, шпалы пересмотрели, костыли подколотили, гайки подвинтили, столбы подкрасили, на переездах приказали желтого песочку подсыпать. Соседка-сторожиха и старика своего выгнала травку подщипать. Работал Семен целую неделю; все в исправность привел и на себе кафтан починил, вычистил, а бляху медную кирпичом до сияния оттер. Работал и Василий. Приехал начальник дистанции на дрезине; четверо рабочих рукоять вертят; шестерни жужжат; мчится тележка верст по двадцать в час, только колеса воют. Подлетел к Семеновой будке; подскочил Семен, отрапортовал по-солдатски. Все в исправности оказалось.

– Ты давно здесь? – спрашивает начальник.

– Со второго мая, ваше благородие.

– Ладно. Спасибо. А в сто шестьдесят четвертом номере кто?

Дорожный мастер (вместе с ним на дрезине ехал) ответил:

– Василий Спиридов.

– Спиридов, Спиридов... А, это тот самый,

что в прошлом году был у вас на замечании?

– Он самый и есть-с.

– Ну, ладно, посмотрим Василия Спиридова. Трогай.

Налегли рабочие на рукояты; пошла дрезина в ход.

Смотрит Семен на нее и думает: «Ну, будет у них с соседом игра».

Часа через два пошел он в обход. Видит, из выемки по полотну идет кто-то, на голове будто белое что виднеется. Стал Семен приглядываться – Василий; в руке палка, за плечами узелок маленький, щека платком завязана.

– Сосед, куда собрался? – кричит Семен.

Подошел Василий совсем близко: лица на нем нету, белый как мел, глаза дикие; говорить начал – голос обрывается.

– В город, – говорит, – в Москву... в правление.

– В правление... Вот что! Жаловаться, стало быть, идешь? Брось, Василий Степаныч, забудь...

– Нет, брат, не забуду. Поздно забывать. Видишь, он меня в лицо ударил, в кровь разбил.

Пока жив, не забуду, не оставлю так. Учить их надо, кровопийцев...

Взял его за руку Семен:

– Оставь, Степаныч, верно тебе говорю: лучше не сделаешь.

– Чего там лучше! Знаю сам, что лучше не сделаю; правду ты про талан-судьбу говорил. Себе лучше не сделаю, но за правду надо, брат, стоять.

– Да ты скажи, с чего все пошло-то?

– Да с чего... Осмотрел все, с дрезины сошел, в будку заглянул. Я уж знал, что строго будет спрашивать; все как следует исправил. Ехать уж хотел, а я с жалобой. Он сейчас кричать. «Тут, говорит, правительственная ревизия, такой-сякой, а ты об огороде жалобы подавать! Тут, говорит, тайные советники, а ты с капустой лезешь!» Я не стерпел, слово сказал, не то чтобы очень, но так уж ему обидно показалось. Как даст он мне... Терпенье наше проклятое! Тут бы его надо... а я стою себе, будто так оно и следует. Уехали они, опамятовался я, вот обмыл себе лицо и пошел.

– Как же будка-то?

– Жена осталась. Не прозевает; да ну их со-

всем и с дорогой ихней!

Встал Василий, собрался.

– Прощай, Иваныч. Не знаю, найду ли управу себе.

– Неужто пешком пойдешь?

– На станции на товарный попрошусь; завтра в Москве буду.

Простились соседи; ушел Василий, и долго его не было. Жена за него работала, день и ночь не спала; извелась совсем, поджидая мужа. На третий день проехала ревизия: паровоз, вагон багажный и два первого класса, а Василия все нет. На четвертый день увидел Семен его хозяйку: лицо от слез пухлое, глаза красные.

– Вернулся муж? – спрашивает.

Махнула баба рукой, ничего не сказала и пошла в свою сторону.

Научился Семен когда-то, еще мальчишкой, из тальника дудки делать. Выжжет таловой палке сердце, дырки где надо высверлит, на конце пищик сделает и так славно наладит, что хоть что угодно играй. Делывал он в досужее время дудок много и с знакомым то-

варным кондуктором в город на базар отпра-  
влял; давали ему там за штуку по две копейки.  
На третий день после ревизии оставил он до-  
ма жену вечерний шестичасовой поезд встре-  
тить, а сам взял ножик и в лес пошел, палок  
себе нарезать. Дошел он до конца своего  
участка, – на этом месте путь круто поворачи-  
вал, – спустился с насыпи и пошел лесом под  
гору. За полверсты было большое болото, и  
около него отличнейшие кусты для его дудок  
росли. Нарезал он палок целый пук и пошел  
домой. Идет лесом; солнце уже низко было;  
тишина мертвая, слышно только, как птицы  
чиликают да валежник под ногами хрустит.  
Прошел Семен немного еще, скоро полотно;  
и чудится ему, что-то еще слышно: будто где-  
то железо о железо позвякивает. Пошел Се-  
мен скорей. Ремонту в то время на их участке  
не было. «Что бы это значило?» – думает. Вы-  
ходит он на опушку – перед ним железнодо-  
рожная насыпь подымается; наверху, на по-  
лотне, человек сидит на корточках, что-то де-  
лает; стал подыматься Семен потихоньку к  
нему: думал, гайки кто воровать пришел.  
Смотрит – и человек поднялся, в руках у него

лом; поддел он рельс ломом, как двинет его в сторону. Потемнело у Семена в глазах; крикнуть хочет – не может. Видит он Василия, бежит бегом, а тот с ломом и ключом с другой стороны насыпи кубарем катится.

– Василий Степаныч! Отец родной, голубчик, воротись! Дай лом! Поставим рельс, никто не узнает. Воротись, спаси свою душу от греха.

Не обернулся Василий, в лес ушел.

Стоит Семен над отвороченным рельсом, палки свои выронил. Поезд идет не товарный, пассажирский. И не остановишь его ничем: флага нет. Рельса на место не поставишь; голыми руками костылей не забьешь. Бежать надо, непременно бежать в будку за каким-нибудь припасом. Господи, помоги!

Бежит Семен к своей будке, задыхается. Бежит – вот-вот упадет. Выбежал из лесу – до будки сто сажень, не больше, осталось, слышит – на фабрике гудок загудел. Шесть часов. А в две минуты седьмого поезд пройдет. Господи! Спаси невинные души! Так и видит перед собою Семен: хватит паровоз левым колесом об рельсовый обруб, дрогнет, накренится,



пойдет шпалы рвать и вдребезги бить, а тут кривая, закругление, да насыпь, да валиться-ся-то вниз одиннадцать сажен, а там, в третьем классе, народу битком набито, дети малые... Сидят они теперь все, ни о чем не думают. Господи, вразуми ты меня!.. Нет, до будки добежать и назад вовремя вернуться не успеешь...

Не добежал Семен до будки, повернул назад, побежал скорее прежнего. Бежит почти без памяти; сам не знает, что еще будет. Добежал до отвороченного рельса: палки его кучей лежат. Нагнулся он, схватил одну, сам не понимая зачем, дальше побежал. Чудится ему, что уже поезд идет. Слышит свисток далекий, слышит, рельсы мерно и потихоньку подрагивать начали. Бежать дальше сил нету; остановился он от страшного места саженях во ста: тут ему точно светом голову осветило. Снял он шапку, вынул из нее платок бумажный; вынул нож из-за голенища; перекрестился, Господи благослови!

Ударил себя ножом в левую руку повыше локтя; брызнула кровь, полила горячей струей; намочил он в ней свой платок, расправил,

растянул, навязал на палку и выставил свой красный флаг.

*Стоит, флагом своим размахивает, а поезд уж виден. Не видит его машинист, подойдет близко, а на ста саженьях не остановить тяжелого поезда!*

Стоит, флагом своим размахивает, а поезд уж виден. Не видит его машинист, подойдет близко, а на ста саженьях не остановить тяжелого поезда!

А кровь все льет и льет; прижимает рану к боку, хочет зажать ее, но не унимается кровь; видно, глубоко поранил он руку. Закружилось у него в голове, в глазах черные мухи залетали; потом и совсем потемнело; в ушах звон колокольный. Не видит он поезда и не слышит шума; одна мысль в голове: «Не устою, упаду, уроню флаг; пройдет поезд через меня... помоги, Господи, пошли смелу...»

И стало черно в глазах его и пусто в душе его, и выронил он флаг. Но не упало кровавое знамя на землю: чья-то рука подхватила его и подняла высоко навстречу подходящему поезду. Машинист увидел его, закрыл регулятор и дал контрпар. Поезд остановился.



Выскочили из вагонов люди, сбились толпою. Видят: лежит человек весь в крови, без памяти; другой возле него стоит с кровавой тряпкой на палке.

Обвел Василий всех глазами, опустил голову.

– Вяжите меня, – говорит, – я рельс отвортил.

1887

# Примечания

Современники о Гаршине. Воспоминания. С.  
76.

[^^^]

Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т.  
Т. 13. Кн. 2: Письма. 1968. С. 27.

[^^^]

# 3

Кто зовет меня? *(нем.)*

[^^^]



# 4

Ах, как он уродлив, этот... (*фр.*)

[^^^]

Позвольте (*фр.*).

[^^^]

# 6

Венгерской помады (*фр.*).

[^^^]

Две монеты.

[^^^]

Господин.

[^^^]

Где почта?

[^^^]

Боже мой! (*фр.*)

[^^^]